

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

Менюетт



Annotation

"... 15 сентября

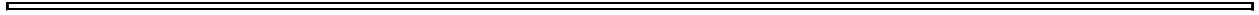
Событие совершенно неожиданное. Мужа нашли убитым в его кабинете. Неизвестный убийца разбил Виктору череп гимнастической гирей, обычно лежащей на этажерке. Окровавленная гиря валяется тут же на полу. Ящики стола взломаны. Когда к Виктору вошли, тело его еще было теплым. Убийство совершено под утро. ..."

- [Валерий Яковлевич Брюсов](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)
- [XVIII](#)
- [XIX](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)



Валерий Яковлевич Брюсов
Последние страницы из дневника
женщины

15 сентября

Событие совершенно неожиданное. Мужа нашли убитым в его кабинете. Неизвестный убийца разбил Виктору череп гимнастической гирей, обычно лежащей на этажерке. Окровавленная гиря валяется тут же на полу. Ящики стола взломаны. Когда к Виктору вошли, тело его еще было теплым. Убийство совершено под утро.

В доме какая-то недвижная суетня. Лидочка рыдает и ходит из комнаты в комнату. Няня все что-то хлопочет и никому не дает ничего делать. Прислуги считают долгом быть безмолвными. А когда я спросила кофе, на меня посмотрели как на клятвопреступницу. Боже мой! что за ряд мучительных дней предстоит!

Говорят: пришла полиция.

В тот же день

Кто только не терзал меня сегодня!

Чужие люди ходили по нашим комнатам, передвигали нашу мебель, писали на моем столе, на моей бумаге...

Был следователь, допрашивал всех, и меня в том числе. Это – господин с проседью, в очках, такой узкий, что похож на собственную тень. К каждой фразе прибавляет «тэк-с». Мне показалось, что он в убийстве подозревает меня.

– Сколько ваш муж хранил дома денег?

– Не знаю.

– Где был ваш муж вчера вечером перед возвращением домой?

– Не знаю.

– С кем ваш муж чаще встречался последнее время?

– Не знаю.

– Тэк-с.

Откуда я все это могла бы знать? В дела мужа я не вмешивалась. Мы старались жить так, чтобы друг другу не мешать.

Еще следователь спросил, подозреваю ли я кого.

Я ответила, что нет, – разве только политических врагов мужа. Виктор по убеждению был крайний правый, во время революции, когда бастовали фармацевты, он ходил работать в аптеку. Тогда же нам прислали анонимное письмо, в котором угрожали Виктора убить.

Моя догадка, кажется, разумная, но следователь непристойно покачал головой в знак сомнения. Он мне дал подписать мои ответы и сказал, что еще вызовет меня к себе, в свою камеру.

После следователя приехала мама.

Входя ко мне, она почла долгом вытирать глаза платком и раскрыть мне объятия. Пришлось сделать вид, что я в эти объятия падаю.

– Ах, Nathalie, какое ужасное происшествие.

– Да, мама, ужасное.

– Страшно подумать, как мы все близки от смерти. Человек иногда не предполагает, что живет свой последний день. Еще в воскресенье я видела Виктора Валериановича живым и здоровым!

Произнеся еще должное число восклицаний, мама перешла к делу.

– Скажи мне, Nathalie, у вас должно быть хорошее состояние. Покойный зарабатывал не менее двадцати тысяч в год. Кроме того, в позапрошлом году он получил наследство от матери.

– Я ничего не знаю, мама. Я брала те деньги, которые мне давал Виктор на дом и на мои личные расходы, и больше ни во что не вмешивалась.

– Оставил покойный завещание?

– Не знаю.

– Почему же ты не спросила его? Первый долг порядочного человека – урегулировать свои денежные дела.

– Но, может быть, и завещать было нечего.

– Как так? Вы жили гораздо ниже своих средств. Куда же Виктор Валерианович мог расходовать суммы, поступавшие к нему?

– Может быть, у него была другая семья.

– Nathalie! Как можешь ты говорить так, когда тело покойного еще здесь, в доме!

Наконец, мне удалось дать понять маме, что я устала, совершенно изнемогаю. Мама опять стала вытирать глаза платком и на прощание сказала:

– Такие испытания нам посылаются небом как предостережение. О тебе дурно говорили последнее время, Nathalie. Теперь у тебя есть предлог изменить свое поведение и поставить себя в обществе иначе. Как мать, даю тебе совет воспользоваться этим.

Ах, из всего, что мне придется переживать в ближайшие дни, самое тяжкое – это визиты родственников и знакомых, которые будут являться, чтобы утешать и соболезновать. Но ведь «нельзя же нарушать установившиеся формы общезжития», как сказала бы по этому поводу моя

мать.

Еще в тот же день

Поздно вечером приехал Модест. Я велела никого не принимать, но он вошел почти насильно, – или Глаша не посмела не впустить его.

Модест был, видимо, взволнован, говорил много и страстно. Мне его тон не понравился, да и я без того была замучена, и мы почти что поссорились.

Началось с того, что Модест заговорил со мною на «ты». В нашем доме мы никогда «ты» друг другу не говорили. Я сказала Модесту, что так пользоваться смертью – неблагородно, что в смерти всегда есть тайна, а в тайне – святость. Потом Модест стал говорить, что теперь между нами нет более преграды и что мы можем открыто принадлежать друг другу.

Я возразила очень резко:

– Прежде всего я хочу принадлежать самой себе.

Под конец разговора Модест, совсем забывшись, стал чуть не кричать, что теперь или никогда я должна доказать свою любовь к нему, что он никогда не скрывал ненависти своей к моему мужу и многое другое, столь же ребяческое. Тогда я ему прямо напомнила, что уже поздно и что в этот день длить его визит совершенно неуместно.

Я достаточно знаю Модеста и видела, что, прощаясь со мной, он был в ярости. Щеки его были бледны, как у статуи, и это, в сочетании с пламенными глазами, делало его лицо без конца красивым. Мне хотелось расцеловать его тут же, но я сохранила строгий вид и холодно дала ему поцеловать руку.

Разумеется, наша размолвка не будет долгой; мы просто встретимся следующий раз, как если бы никакой ссоры не было. Есть в существе Модеста что-то для меня несказанно привлекательное, и я не сумею лучше определить это «что-то», как словами: ледяная огненность... Крайности темпераментов причудливо сливаются в его душе.

II

18 сентября

Три дня вспоминаю, как самый тягостный кошмар.

Следователь, судебный пристав, пристав из участка, соболезнующие родственники, нотариус, похоронное бюро, поездки в банк, поездки к священнику, бессмысленные ожидания в приемных, не менее бессмысленные разговоры, чужие лица, отсутствие своего, свободного времени, – о, как бы поскорее забыть эти три дня!

Выяснились две вещи. Во-первых, додумались, что убийство было совершено из мести, так как муж дома денег никогда не хранил (теперь и я это вспомнила). К тому же и бумажник его, бывший у него в кармане, остался цел. Но как убийца проник к нам в квартиру, в бельэтаж, понять никак не могут.

Во-вторых, стало известным, что существует духовное завещание мужа. Ко мне приезжал нотариус, чтобы сообщить это. Он намекал, что главная наследница – я, и что предстоит мне получить не мало.

Похороны, ввиду вскрытия тела, отложены. Я предоставила всеми делами распорядиться дядюшке. Конечно, он наживет на этом деле не меньше, как тысячи полторы, но, право, это цена не дорогая за избавление от таких хлопот.

Модест не заезжал ко мне ни разу, но не обращаюсь же к нему я первой!

Зато я не отказала себе в маленьком развлечении и на час поехала к Володе.

Милый мальчик обрадовался мне страшно. Он стал предо мною на колени, целовал мне ноги, плакал, смеялся, лепетал.

– Я думал, – говорил он, – что не увижу тебя много, много дней. Какая ты добрая, что пришла. Так ты любишь меня на самом деле!

Я ему клялась, что люблю, и действительно любила в ту минуту за наивность его радости, за настоящие слезы в его глазах, за то, что весь он – слабый, тонкий, гибкий, как стебель.

Что-то давно я не была у Володи, и меня удивило, как он убрал свое помещение. Все у него теперь подобрано согласно с моим вкусом. Темные портьеры, строгая мебель, нигде никаких безделушек, гравюры с Рембрандта на стенах.

– Ты переменял мебель, – сказала я.

Он ответил, краснея:

– Прошлый раз, после твоего ухода, я опять нашел сто рублей. Я ведь дал слово, что не возьму себе ни копейки твоих денег. Я истратил их все на то, чтобы тебе было хорошо у меня.

Разве это не трогательно?

Конечно, и он заговорил о перемене в моей судьбе, но робко, сам пугаясь своих слов.

– Ты теперь свободна... Может быть, мы будем встречаться чаще.

– Глупый, – возразила я, – время ли думать об этом? Мой муж еще не похоронен.

У Володи были припасены фрукты и ликер. Я села на диван, а он стал подле на колени, смотрел мне в глаза и говорил:

– Ты – прекрасна. Я не могу придумать лица красивее. Мне хочется целовать каждое твое движение. Ты пересоздала меня. Только узнав тебя, я научился видеть. Только полюбив тебя, я научился чувствовать. Я счастлив тем, что отдал себя тебе – совсем, безраздельно. Мое счастье в том, что все мои поступки, все мои мысли и желания, самая моя жизнь – зависят от тебя. Вне тебя – меня нет...

Такие слова нежат, как ласка любимой кошки с пушистой шерстью. Он говорил долго, я долго слушала. Детские интонации его голоса меня гипнотизировали, убаюкивали.

Вдруг я вспомнила, что пора ехать. Но Володя пришел в такое отчаяние, так умолял меня, так ломал руки, что я не в силах была ему отказать...

Быть может, дурно, что я изменяю праху моего мужа. У меня в душе осталось какое-то темное чувство неловкости. Я никогда не испытывала этого, изменяя живому. Есть таинственная власть у смерти.

III

19 сентября

Люблю ли я Володю?

Вряд ли. В нем мне нравится мое создание. Какой он был дикий, когда мы встретились с ним в Венеции! Он ни о чем не умел ни думать, ни говорить, кроме тех политических вопросов и дел, из-за которых ему пришлось укрываться за границей. Я в его душе угадала иной облик, совсем как скульптор, который угадывает свою статую в необделанной глыбе мрамора.

Ах, я много потрудились над Володей! Положим, какое единственное было место для воспитания души: золото-мраморный лабиринт города Беллини и Сансовино, Тициана и Тинторетто! Мы вместе слушали с гондол майские «серенады», мы ездили в «дом сумасшедших», навсегда освященный именами Байрона и Шелли, мы, в темных церквах, могли вволю насыщать глаза красочными симфониями мастеров Ренессанса! А потом я читала Володе стихи Фета и Тютчева.

Говорят, можно видеть, как растет трава. Я воочию видела, как преображалась душа юноши и в то же время преображалось его лицо. Его чувства становились сложнее, его мысли – тоньше, но изменились и его речь, и его глаза, и его голос! До меня был «товарищ Петр» (как его звали «в партии»), неловкий, грубый; я создала Володю, моего Володю, утонченного, красивого, похожего на юношу с портрета Ван-Дика.

А потом! Ведь он мне сознался, – да и не трудно было догадаться, – что я была первая женщина, которой он отдался. Я взяла, я выпила его невинность. Я для него – символ женщины вообще; я для него – воплощение страсти. Любовь он может представлять лишь в моем образе. Одно мое приближение, веянье моих духов его опьяняет. Если я ему скажу: «пойди – убей» или «иди – умри», он исполнит, даже не думая.

Как же мне отдать кому-нибудь Володю? Он – мой, он – моя собственность, я его сделала и имею все права на него...

В нем я люблю опасность. Наша любовь – тот «поединок роковой», о котором говорит Тютчев. Еще не победил ни один из нас. Но я знаю, что может победить он. Тогда я буду его рабой. Это – страшно, и это – соблазняет, притягивает к себе, как пропасть. И стыдно уйти, потому что это было бы трусостью.

Модест для меня загадка, я не распутала еще нитей его души, да и

распутал ли их кто-нибудь до конца? Как для него характерно, что он – художник, и сильный художник, – никогда не выставлял своих вещей. Ему довольно сознания, что после его смерти любители будут платить безумные деньги за его полотна и разыскивать каждый его карандашный набросок. Таков он во всем: он довольствуется тем, что сам знает о себе, и ему не нужно, чтобы это знали о нем другие. Он действительно презирает людей, всех людей, может быть, и меня в том числе, хотя клянется мне в любви.

В Володе я люблю его любовь ко мне. В Модесте – возможность моей любви к нему. Только возможность, потому что я употреблю все усилия, чтобы эта любовь в моей душе не разгорелась.

IV

23 сентября

Похороны состоялись вчера. Описывать их было бы скучно. Все говорили, что в трауре я была очень эффектна.

Во время последней панихиды с Глашей сделался истерический припадок. Такая чувствительность странна. Не была ли она влюблена в Виктора, или даже не были ли они в близких отношениях? Я всегда старалась не вникать в эти дела.

Стало известно и завещание Виктора. Он был очень мил и, за исключением мелких сумм, завещанных его родственникам, отказал все мне. Выяснилось, что у него было процентными бумагами и акциями разных предприятий около 250 000 рублей. Я не предполагала, что у нас так много денег.

Признаюсь, ощущение себя женщиной если не богатой, то состоятельной было мне очень приятно. В деньгах есть сила, и, узнав размеры наследства, я испытала такое ощущение, словно некоторое войско, мне подвластное, стало на мою защиту. Как это ни смешно и даже как это ни позорно, но в душе я почувствовала прилив самоуверенности и гордости...

Перед самыми похоронами у меня было объяснение с Модестом. Он кротко просил у меня прощения за свое нелепое поведение в день убийства и просил провести с ним целый день. По его словам, ему надо мне сказать нечто очень важное и он не в силах сделать это в обычной обстановке. Мы поедем за город.

Как могла я ему отказать? Да и мне самой, после целой недели всевозможных тягот, завершившихся бесконечным похоронным обедом, так будет сладостно на день перенестись в другой мир! Я обещала.

В тот же день

Где есть деньги, там всегда появляются разные темные личности. Вот почему сегодняшнее посещение меня несколько не удивило.

Глаша доложила мне, что меня, по важному делу, хочет видеть какой-то Сергей Андреевич Хмылев, – «очень добиваются». Я велела его пустить.

Вошел человек гнусного вида, худой и низенький, с лицом безбородым, в сером обтянутом пиджаке. Поклонился он с почтительностью преувеличенной, сел на самый кончик стула и долго

говорил, голосом неприятным, в нос, какую-то околесицу. Когда я уже начала терять терпение, он заговорил осмысленнее.

– Вам, сударыня, так будет покойнее. Где же вам самой хлопотать обо всем: это дело не женское. Я потому что знал еще покойного родителя вашего, всегда мне удовольствие заслужить вам. Выдадите вы мне эти двадцать тысяч, и все останется вполне благородно. Со мной, вы мне можете поверить, всякая тайна, как ко дну ключ.

Я его спросила:

– Это вам я должна дать двадцать тысяч рублей? По какой же причине?

– А насчет убийства покойного вашего мужа.

– Что же, это вы его убили?

Спросила я это нарочно, чтобы заставить своего собеседника прямо перейти к сути, но его мой вопрос не удивил нисколько.

– Никак нет-с, я не убивал. А только вы сами изволите знать, какое беспокойство, если затянется следствие, пойдут допросы, кто, да что, да как. Опять же, иногда и в виде меры пресечения – тюрьма-с. Наконец, если будут докапываться, мало ли до чего дознаются...

Мне надоели намеки и недомолвки, и я сказала:

– Послушайте, мне некогда. Говорите прямо, что вам нужно. Вы не хуже меня знаете, что даром денег не дают. Объясните, что вы мне предлагаете и за что я вам должна, по вашему мнению, заплатить двадцать тысяч.

Или мне это показалось, или лицо Хмылева стало наглым до чрезвычайности. Он отвечал мне, смотря в сторону, но уже вполне определенно:

– Я, сударыня, предлагаю вам дело покончить. Вы ничего знать не будете, и от вас ничего не потребуется, только все будет сделано. Убийца сам объявится и повинится, и следствие будет прекращено. Так что никаких обстоятельств более не откроется. Лишнего я с вас ни копейки не спрошу. В ту сумму все включено-с, и кого надо подмазать, и что надо заплатить главному лицу, и наше вознаграждение-с...

После таких слов я встала и спросила:

– Итак, это – шантаж?

– Поверьте, сударыня, – возразил мне Хмылев, – что мне достанется самая малая толика. Мы люди маленькие. Нас тут четверо работают, и я, почитай, все должен буду другим отдать. Разве я посмел бы с вас такие деньги спрашивать? Особливо, как я честь имел вашего покойного папеньку знать...

Я позвонила и приказала Глаше:

– Проводите этого господина.

Хмылев тоже встал и без всякого смущения добавил:

– Тысчонку-другую мы, может быть, и скинули бы.

– Пойдемте, дяденька, нехорошо, – сказала Глаша.

Когда дверь за Хмылевым была заперта, я спросила Глашу:

– Вы знаете этого г. Хмылева?

– Как же-с, он мой дядя...

– Ну, извините, Глаша, не слишком хороши ваши родственники.

Потрудитесь больше его никогда не допускать ко мне.

– Простите, барыня, – сказала Глаша, – он точно человек, не совсем при своей чести состоящий...

Кажется, я довольно точно записала обороты речи Хмылева. Думается мне, что он юродствовал нарочно, так как не хотел говорить прямо. Но что скрывается за его двусмысленными словами? Только ли угроза обличить мои отношения с Модестом или большее?

25 сентября

Надо описать мою поездку с Модестом.

Прежде всего вмешалась почему-то Лидочка.

Когда я приказала заложить лошадь и сказала, что поеду в Любимовку, Лидочка стала упрашивать взять ее с собой.

– Милая, хорошая Наташа, позволь мне ехать тоже. Мне так хочется. Я буду такая счастливая с тобой.

Я ответила, что хочу отдохнуть, хочу быть одна. Тогда Лидочка вдруг приняла вид серьезный, сдвинула маленькие брови, даже побледнела и сказала:

– Ты – в трауре, тебе неприлично уезжать одной на целый день из дому.

– В уме ли ты, Лидочка? Это не твое дело.

– Нет, мое! Ты – моя сестра, и я не хочу, чтобы о тебе плохо отзывались.

Конечно, я сделала Лидочке выговор за ее неуместное вмешательство, она расплакалась и ушла в свою комнату. Но, должно быть, тапан была права и обо мне «дурно говорят», если это уже замечают дети...

Во всяком случае все *convenances*^[1] были соблюдены, так как мы с Модестом ехали в разных поездах. Я два часа проскучала одна в пустом вагоне, и Модест встретил меня уже на нашей деревенской платформе. Он был в охотничьей куртке и в маленькой шапочке, что очень ему шло.

Мне, после двухчасового молчания, хотелось говорить и смеяться, и свежий воздух открытых, опустелых полей опьянил меня, как шампанское. Но Модест, как, впрочем, все последние дни, был молчалив, сдержан. Он молчал почти всю дорогу от станции до имения, и мне оставалось только любоваться осенним простором и синим, синим, синим небом.

В усадьбе Никифор встретил меня почтительно: видно, до него уже долетела весть, что я – наследница после Виктора.

Когда мы остались одни, за самоваром, Модест сказал мне:

– Мне надо сказать тебе, Талия, нечто очень важное. Самое важное из всего, что я говорил тебе в жизни.

– Говори.

– Не здесь. После. В лесу.

После чая мы пошли в лес. День был ясный. «Тютчевский», «как бы

хрустальный». В безоблачности неба была непобедимая кротость. Казалось, природа говорила подступающей зиме: распинай меня, убивай меня, приму муки покорно, умру без жалобы...

Я бегала по поблеклой траве, как Мария Стюарт в третьем акте трагедии Шиллера. Я пела песенки, как бывало в пятнадцать лет, гуляя с влюбленными в меня гимназистами. Увидев белку, спасающуюся от меня на самую вершину сосны, я обрадовалась, как дитя. Ах, в каждом человеке таится жажда первобытной жизни, и сквозь краткие тысячелетия культурной жизни порою проступает дух долгих миллионов лет, когда человек бродил вместе со зверями по девственным лесам и укрывался вместе с медведями в пещерах!

Мы дошли до Марьиного обрыва и сели там на скамейке над речкой. Я ждала обещанного важного разговора. Модест, против обыкновения, не находил, по-видимому, слов. Потом, как-то с трудом произнося слова, спросил:

– Ответь мне со всей откровенностью и со всей решимостью: любишь ли ты меня и любишь ли меня одного?

Эти слова были таким диссонансом в гармонии осеннего дня и моей радости! Но я давно знаю, что говорить правду мужчинам нельзя, и ответила покорно:

– Да, Модест, я люблю тебя одного.

После нового молчания Модест опять спросил меня что-то подобное же, и я опять, не споря, дала ему условный, стереотипный ответ.

Мне казалось, что Модест не смеет сказать мне то, ради чего позвал меня сюда. Когда уже мне стало холодно и пора было уходить, Модест, как бы решившись, заговорил:

– Талия! когда, в тот день, я начал говорить с тобой о перемене, произошедшей в нашей жизни, ты мне приказала замолчать. Но я должен тебе сказать, что я думаю, потому что от этого зависит для меня все. Я знаю, что ты любила многих до меня и что я для тебя был просто новой, интересной игрушкой. (Я хотела возразить, но Модест сделал мне знак молчать.) Но я тебя люблю не так, а по-настоящему, любовью ожесточенной и неограниченной. Скажи мне, что мои чувства дики и примитивны, я не откажусь от них. Люблю тебя, как любит простой человек, не мудрствующий над любовью; как любили в прежние века и как сейчас любят всюду, кроме нашего, так называемого культурного общества, играющего в любовь. Со всей наивностью я хочу обладать тобою вполне, иметь над тобой все права, какие можно. До сих пор мысль, что нас что-то разделяет, что к тебе прикасается другой мужчина, что мы нашу любовь

принуждены прятать, приводила меня в ярость и в отчаянье. Теперь, когда вдруг все переменялось, у меня не может быть другого желания, как взять тебя совсем, увериться, что отныне ты – моя, и моя навсегда. И если ты, как только что ты сказала, меня любишь (он сделал ударение на этом слове), у тебя не может быть другого желания, как сказать мне: хочу быть твоей навсегда, возьми меня.

– Ты мне делаешь предложение, Модест? – спросила я.

– Да, я тебе предлагаю быть моей женой.

– Не слишком ли рано, через десять дней после смерти мужа?

Модест встал и сказал сурово, жестко, почти деловым тоном:

– Если все это было игрой в любовь, скажи мне откровенно, Талия. Я уйду. Если же ты хочешь моей любви, я требую – слышишь! – требую, чтобы ты стала моей женой...

Я попыталась обратить разговор в шутку. Модест настаивал на ответе. Я попросила несколько дней на то, чтобы обдумать ответ. Модест подхватил мои слова и в выражениях формальных предложил мне месяц... Я, смеясь (но, сознаюсь, деланным смехом), согласилась.

Когда мы шли обратно к усадьбе, я сказала, стараясь шутить:

– Какая тебе корысть, Модест, что я стану твоей женой? Если я обманывала Виктора с тобой, почему я не буду обманывать тебя с другим?

– Тогда я убью тебя, – сказал Модест.

– Полно! – возразила я. – Убить может дикарь, пьяный мужик, прежде могли рыцари и итальянские синьоры. Ты убить не способен.

– Современный человек, – ответил Модест очень серьезно, – должен все уметь делать: писать стихи и управлять электрической машиной, играть на сцене и убивать.

Больше мы не говорили ни о чем важном. Мне показалось, однако, что предложение, сделанное мне Модестом, было не все то, ради чего он звал меня провести с ним день за городом. Чего-то он так и недоговорил.

Я вернулась домой с последним поездом, ночью поздно. В дверях мелькнуло мне заплаканное и гневное личико Лидочки. Я предпочла не объясняться с ней и прямо прошла к себе.

VI

26 сентября

Поездка с Модестом оставила в моей душе неприятное впечатление. Сегодня я уже думала о том, что его требования не то дерзки, не то смешны. Я жалела, что не сказала ему это тогда же. Но мне было слишком хорошо на воле, в лесу, и я была с ним добрее, чем следовало.

Когда сегодня ко мне пришел Володя, я ему обрадовалась искренно. Насколько милее, подумала я, этот ласковый мальчик, для которого блаженство один мой поцелуй и который отдает всего себя, не требуя ничего. На что мне Модест, серьезно говорящий о том, как он убьет меня, если можно так легко, так просто быть счастливой с Володей! Трагедии прекрасны на сцене и в книгах, но в жизни Мариво куда приятнее Эсхила!

Оказалось, однако, что и Володя – тоже мужчина и что все мужчины на один лад. (Давно бы пора мне в этом убедиться!)

Уже по одному тому, что Володя отважился прийти ко мне, я могла догадаться, что случилось нечто особенное. При жизни мужа Володя никогда не бывал у меня в доме. Когда же Володя вошел в гостиную, я увидела, что он расстроен до последнего предела. Такой он был грустный и жалкий, что я, если бы не боялась, что Лидочка подсматривает, тут же схватила бы его за подбородок и расцеловала бы в заплаканные глаза.

Сначала Володя уверял, что ничего не случилось.

– Просто я не видал тебя слишком долго (в самом деле я не была у него целую неделю!). Мне стало не хватать тебя, как в подземелье не хватает воздуха. Дай мне подышать тобой.

Я постаралась так обласкать его, что он признался. Впрочем, он всегда в конце концов признавался мне во всем.

Объяснилось, что он получил анонимное письмо, написанное не без грамматических ошибок (может быть, намеренных?), в котором сообщалось, что я – любовница Модеста. Передав мне конверт, Володя, конечно, начал рыдать и уверял, что сейчас же пойдет и убьет себя, так как существовать он может лишь в том случае, если я принадлежу ему одному.

– Глупый! – сказала я ему, – как же ты существовал до сих пор, пока был жив мой муж?

– Ведь ты же его не любила, ведь это была случайность, что ты его встретила раньше, чем меня.

Что было делать? Мне так хотелось, после суровости Модеста, вновь

увидеть счастливое лицо Володи, услышать его детские, восторженные клятвы, что я сказала ему все то, чего он втайне ждал от меня. Сказала ему, что письмо – вздорная клевета, что я люблю его одного, что до встречи с ним не знала, что такое истинная любовь, что после этой встречи переродилась, нашла в глубине своей души другую себя, что не быть верной ему мне столь же невозможно, как не быть верной себе самой, что это не моя обязанность, а мое желание, и так далее, без конца...

Володя утешился быстро, поверил безусловно и робко заговорил о будущем.

– Теперь ты свободна. Почему бы нам не уехать за границу? Здесь у тебя столько дел, связей, отношений. Я понимаю, что тебе здесь невозможно открыто признаться в твоей любви ко мне. Я – еще мальчик, тебя могли бы осудить (это он сказал совершенно наивно). Но где-нибудь в Италии, где нас никто не знает, мы могли бы жить друг для друга. Наша жизнь стала бы осуществленной сказкой. День, ночь, дождь, солнце – все было бы для нас счастьем...

Ах, глупый, глупый! Он очень мил, как маленькая подробность жизни, но если бы мне опять пришлось провести с ним вдвоем несколько недель, я бы зачахла от тоски и однообразия. Он бы замучил меня и своей невинностью, и своей экзальтацией. Лимонная вода и шипучий нарзан приятны между двумя блюдами, но смысл ужину придают густое нюи и замороженное ирруа.

Я отговорила тем, что на полгода у меня хватит хлопот по наследству. Месяц – Модесту, шесть месяцев – Володе; что я отвечу, когда сроки истекут? Не брошу ли просто-напросто и маленького ревнивца, и художника-дьявола? Любовь и страсть прекрасны, но свобода – лучше вдвое!

Впрочем, должна была обещать Володе, что приеду к нему нынче вечером.

В тот же день

Странная сейчас была встреча.

Я вернулась от Володи (который, право, растрогал меня своей восторженной нежностью) довольно поздно, за полночь. Мне почудилось, что дверь мне отперли с каким-то промедлением и что у Глаши лицо было совсем заплаканное. Не успела я ее спросить, что с ней, как она доложила:

– Модест Никандрович вас ожидают.

Действительно, Модест встретил меня в дверях.

– Excusez-moi, mon ami, – сказала я ему, – mais jugez vous même: est ce qu'il me convient de recevoir des visites, le premier mois de veuvage, après

minuit. Vous me mettez dans une fausse position^[2].

Модест извинился и стал объяснять свое неперемное желание увидеть меня сегодня. К нему явился Хмылев, требовал денег и угрожал сделать нам какой-то скандал. Опасаясь, что завтра Хмылев придет ко мне, Модест поспешил меня предупредить, чтобы я не поддавалась на шантаж этого мошенника.

– Вы опоздали, – сказала я в ответ. – Хмылев уже был у меня, и я ему указала на дверь.

– Поступили умно, как всегда, – сказал Модест.

– Но я совершенно не понимаю, чем он грозит нам, – продолжала я. – Еще при жизни Виктора он мог причинить нам разные мелкие неприятности. Но теперь...

– Конечно, конечно! Вижу, что предупреждать вас не было надобности. Вы все понимаете сами.

Модест поцеловал мне руку и уехал.

Он был явно смущен. Не потому ли он не спросил меня, откуда я возвращалась так поздно? Вообще предлог его ночного визита не показался мне убедительным.

Изумительный человек! Все его поступки, большие и малые, необъяснимы. Никогда не знаешь, зачем он делает то или другое. Быть его женой! да это так же страшно, как быть женой Синей Бороды!

VII

29 сентября

Модест, по-видимому, понял, что произвел на меня в деревне неприятное впечатление, и постарался его загладить. Он упросил меня приехать к нему.

В первый раз я ехала к Модесту без лживого предлога, прямо, только не в своем экипаже, а на извозчике. При жизни Виктора, когда у меня было свидание с Модестом, с Володей или еще с кем-нибудь, мне приходилось выдумывать объяснения своего долгого отсутствия из дому. Виктор, конечно, знал, что я ему изменяю, и молчаливым согласием допускал это; когда, возвращаясь, я ему говорила иной раз, что была у портнихи или доктора, он был уверен, что я говорю неправду. Всё же мы считали нужным сохранять эту условную ложь и почувствовали бы себя очень неловко, если бы она была изобличена... Теперь же мне никому не надо было давать отчета – разве только Лидочке, которая все последнее время ревниво следит за моими поступками.

Квартира Модеста оказалась словно преображенной, только потому, что по стенам он развесил свои картины, которые раньше все были собраны в его студии, куда и меня он допускал с великой неохотой. Теперь на входящего со всех сторон глядят странные женщины, созданные Модестом: со спутанными белокурыми волосами, с глазами гизехского сфинкса, с алыми губами вампира. Они то кружатся в пляске вокруг дерева с гранатовыми плодами, то лежат, обессиленные, на мраморных ступенях гигантской лестницы, осененной кипарисами, то, бесстыдные, ждут на широких, тоже бесстыдных, ложах своих жертв... И взоры этих женщин, или этих призраков (не знаю, как точнее назвать), отовсюду обращаются на посетителя, фиксируют его, гипнотизируют его.

Модест, с моего первого шага у него, окружил меня всеми проявлениями ласки и поклонения. Отворив мне дверь, он стал предо мной на колени; полушутя, он поцеловал подол моего платья. Он смотрел на меня влюбленными глазами и называл меня своей царицей. Вкрадчивым голосом он читал мне любовные стихи каких-то провансальских поэтов: смысла стихов я не понимала, но чувствовала, что все хвалы трубадуров своим дамам Модест относил ко мне.

Модест, когда хочет, умеет быть нежным, как никто другой. Его пальцы прикасаются с набожной ласковостью; его поцелуи становятся

богомольно страстны; он словам, почти непристойным, придает все благоговение молитвы... Или, по крайней мере, таким он мне кажется... В конце концов, я ведь женщина, и когда мне исступленно клянутся в любви, когда меня целуют восторженно, когда кто-то предаёт меня страсти – я уже не могу рассуждать и анализировать. Для каждой женщины, все равно – исключительной или обыкновенной, утонченной или простой, в наши дни или десятки тысячелетий тому назад, – мужчина, обладающий ею, в минуту страсти кажется владыкою, достойным изумления и поклонения...

Модест, пока я была у него, ни разу не напомнил мне о нашем разговоре в Любимовке. Только потому, что он решительно избегал малейшего упоминания о перемене, происшедшей в моей судьбе, видно было, что в его душе ничего не изменилось с того дня. Но когда мне пора уже было уезжать, Модест достал из книжного шкафа прекрасный географический атлас и стал его перелистывать. Я с некоторым недоумением разглядывала великолепно литографированные карты...

Дойдя до карты южной Италии, Модест показал мне маленький островок, оторвавшийся от всякой земли, Устику, и сказал:

– Если через месяц ты скажешь мне, что быть со мною не хочешь, я уеду сюда и буду здесь жить до моего конца.

– Что за нелепая мысль, Модест! – возразила я. – Зачем тебе жить на какой-то Устике! Почему не на острове святой Елены, или не на Яве, или просто не в Париже?

– Я еще мальчиком читал об этой Устике, не помню уже где. Меня описание поразило, и в детстве я часто мечтал, что поеду на эту Устику. Как-то незаметно Устика стала для меня символической страной красоты и счастья, какими-то Гесперидовыми садами... После того я много раз бывал в Италии, но никогда не попадал на Устику; туристам делать там нечего, да мне и жаль было разрушать мои детские иллюзии. Но теперь, когда я подумал, что, может быть, мне придется выбирать на земном шаре одну точку, на которой доживать свою неудавшуюся жизнь, – я решил бесповоротно, что лучше Устики не найду ничего. Там, конечно, синее небо, шумный прибой, красивые скалы, стройные люди; мне ничего другого и не будет надо.

Мне показалось обидно, что Модест хочет запугать меня, как шестнадцатилетнюю барышню, и я ответила не без сухости:

– Полно, Модест! Лесть твоя изысканна, но ты не убедишь меня, будто я занимаю в твоей жизни важное место. Если в самом деле я от тебя уйду, брошу тебя, как говорится, ты очень спокойно уедешь в Париж, будешь писать свои картины и переживешь еще десяток романов. Не повторяй

только своим будущим возлюбленным тех слов, что сказал мне: они не поверят им также.

Модест внезапно принял очень серьезный вид и сказал:

– Милая Талия! Я человек немного не такой, как все. И я оставляю за собою право любить не так, как все. Мне надо, чтобы моя любовь к тебе получила в полном объеме все, чего она хочет. Без этого я жить не хочу и не могу. Я сожгу все мои картины, я раздам свою библиотеку, я не возьму больше кисти в руки, и если останусь жить, то лишь потому, что презираю самоубийство. Ты понимаешь сладость крупной игры, когда игрок рискует всем своим состоянием? Так вот и я на карту моей любви к тебе поставил всю свою жизнь...

Верил ли сам Модест в свои слова? Сомневаюсь. Он – человек слишком сильный, слишком многогранный, чтобы в любви видеть весь смысл жизни. Угрозами и лестью он просто думал вырвать у меня мое согласие...

Но даже если бы то, что говорил Модест, и было правдой! Неужели только затем, чтобы он не совершил над собой «художественного самоубийства» (так это придется назвать?), я должна выйти за него замуж? Боже мой! я молода, хороша собой, богата – зачем же я отдам все это в чужие руки? Почему о Модесте я должна больше думать, чем о себе самой?

Ну да, Модест мне нравится, вернее, меня восхищает в нем редкое сочетание ума и таланта, силы и изысканности. Но разве я могу быть уверенной, что он мне будет нравиться всегда, что не изменится он или не изменюсь я? Я испытала, что значит жить с мужем, который ненавистен. Но Виктор, по крайней мере, оставлял мне полную свободу, а Модест требователен, жесток, ревнив...

Я хочу сохранить себе Володю надолго, на несколько месяцев, кто знает, может быть, на несколько лет. Я хочу иметь и право, и все возможности любить того, кто еще мне понравится и кому я понравлюсь. Как бы ни была глубока и разнообразна любовь одного человека, он никогда не заменит того, что может дать другой. Иногда один жест, одно слово, одна интонация голоса стоят того, чтобы ради них кому-то «отдаться».

В тот же день

Сейчас получила анонимное письмо. Неизвестный автор, подписавшийся, как это водится, «ваш доброжелатель», пишет, что ему известно, кто убил моего мужа, и предлагает мне, если я желаю «проникнуть в эту тайну», вступить с ним «в соответствующие

переговоры». Адрес дан на poste-restante, на какие-то литеры. Сначала я подумала передать письмо судебному следователю, но потом предпочла разорвать и бросить в корзину. Нет сомнения, что это письмо писала та же рука, что и донос Володе.

Но странно все же, что меня лично нисколько не занимает вопрос, кто убил мужа. Виктор как-то совершенно бесследно исчез из моей души. Словно с аспидной доски тщательно стерли влажной губкой то, что было на время написано. Порой, задумавшись, я совсем забываю, что почти шесть лет жила с мужем, что у нас был ребенок, что несколько раз вдвоем ездили мы за границу, что вообще множество моих воспоминаний должно быть тесно связано с Виктором. Положим, я его не любила, но каким же все-таки был он ничтожеством, если так легко оказалось вынуть его и из моего настоящего, и из памяти о прошлом, и из мечтаний о будущем! Впрочем, это ничтожество Виктора было для меня, при его жизни, благодеянием!

VIII

1 октября

Приезжала мамап чтобы, по ее словам, «серьезно говорить со мной». Объяснение вышло тяжелое и скучное, но принять его во внимание приходится.

Вот приблизительно наш разговор:

– Ты ведешь себя невозможно, Nathalie! Месяца не прошло со дня смерти твоего мужа, человека достойнейшего, который обожал тебя, а ты уже заставляешь говорить о себе всю Москву. Тебя по целым дням не бывает дома. Ты принимаешь у себя мужчин в час ночи. Ты бог весть куда едешь на открытом извозчике, когда у вас есть лошадь. Это все прямо неслыханно.

– Откуда вы все это знаете, мамап?

– Заметь себе, что всегда бывает гораздо больше известно, нежели ты думаешь.

– Во всяком случае я вышла из возраста, когда водят за руки. Я – совершеннолетняя и могу жить, как мне нравится.

– Я – мать. Предупредить тебя – это моя обязанность. Ты сейчас бравируешь мнением общества. Но позднее ты очень пожалеешь, что восстановила его против себя. Ты думаешь, что весь свет в одном окошке, что можно всю жизнь прожить одним художником...

– Мамап, вы касаетесь личностей, это неуместно.

– Когда мать говорит с дочерью, все уместно. Ты полагаешь, что о твоей связи не говорят кругом. Совершенно не понимаю, зачем ты ее афишируешь. Никто не требует от тебя ангельской добродетели, но все вправе ждать, что приличия будут соблюдены.

В конце концов, чтобы кончить, я сказала:

– Позвольте вам объявить, мамап, что по прошествии года траура я выхожу замуж за Модеста Никандровича Илецкого.

Мамап, кажется, не притворяясь, побледнела.

– Но ты с ума сошла, Nathalie! Он бог знает из какой семьи, без роду, без племени, без всякого состояния, притом он сумасшедший!

Последнее слово она произнесла с расстановкой: су-ма-сшед-ший!

– Неужели вам больше нравится, чтобы мы жили в незаконной связи?

– Ты меня не понимаешь. К этому я могу отнестись снисходительно. Я допускаю порывы молодости. Но есть ошибки непоправимые. Никогда не

надо делать последнего шага. Зачем доводить что бы то ни было до последней черты? Благовоспитанность состоит в том, чтобы ничем не отличаться от других.

Мамап читала мне свои наставления часа два. Когда она, наконец, уехала, у меня сделалась мигрень. Меня мучили не то мысли, не то сны, не то видения. Мне представлялось, что мы с Модестом в каком-то парке, чуть ли не в Булонском лесу, ищем уголок, чтобы свободно остаться вдвоем. Но едва он меня обнимает, появляется толпа знакомых, предводимых мамап, и все указывают на нас со смехом. Мы убегаем на другой конец парка, но там случается то же. Так повторяется много раз, причем всегда нас застают в особенно неожиданных, постыдных позах. Этот кошмар измучил меня до полусмерти.

Мамап – злой гений всей нашей семьи. С раннего детства она учила меня и сестер лицемерию. Воспитание она нам дала самое поверхностное. Развратила она нас с ранних лет, чуть не подсовывая откровенные французские романы, но требовала, чтобы мы прикидывались наивными дурами. Сама она по своему девичьему паспорту дочь коломенского мещанина, а выйдя замуж за отца, мелкого чиновника из захудалой дворянской семьи, стала играть роль аристократки и нас учила гнушаться людьми «низкого» происхождения. С пятнадцати лет она начала нас тренировать и натаскивать (иначе не умею назвать) на ловлю женихов и двоих старших устроила превосходно; устроит и Лидочку...

Если теперь мамап приходит ко мне и заботится о моей нравственности, то потому только, что мне досталось от Виктора состояние. Мать боится, что эти деньги попадут в руки какого-нибудь сильного мужчины. Она предпочитает, чтобы ими владела я, у которой она, конечно, сумеет выманить и вытребовать все, что ей себе желательно получить. Она предпочтет, чтобы у меня были десятки любовников, только бы я не вышла замуж за Модеста.

А для меня нет ничего столь ненавистного, как понятие – мать. Проклинаю свое детство, проклинаю первые впечатления жизни, проклинаю все свое девичество – балы, гуляния, дачные романы, обмен любовными записочками! Все или было обманом, подстроеным матерью, или было отравлено ее клеветой на жизнь и на людей. Мать готовила меня к одному: к разврату и к торговле собой. О! как еще я не захлебнулась в той грязи, куда вы заботливо кинули меня, на ловлю житейского благополучия, мать!..

.....

А все же о словах матери надо подумать. По-видимому, добровольных

шпионов больше, чем мы предполагаем, и у наших добрых знакомых достаточно досуга, чтобы следить, куда и на каком извозчике мы едем. Придется, пожалуй, скрепя сердце, затвориться на время траура, как в монастыре; я вовсе не хочу, чтобы на меня показывали пальцами. Только не лучше ли, по совету Володи, уехать в Италию да и его прихватить с собой?

IX

6 октября

Почти неделю просидела я дома и чуть с ума не сошла от тоски. Больше сил моих нет выдерживать этот траур.

Сначала я занялась было тем, что отдала визиты родственникам и более близким знакомым, посетившим меня с изъявлениями соболезнования. Разговор о модах предстоящего сезона интересовал меня в первом доме, у Мэри, уже томил во втором, у Катерины Ивановны, и из себя вывел, когда с ним же ко мне обратилась сухопарая Нина, искренно воображающая себя красавицей и наивно говорящая: «у нас, у красивых женщин...»

Потом я попробовала разобраться в делах, оставшихся после мужа. Мне передали ворох счетов, меморандумов, заявлений, отношений и бог знает еще чего. Надо было уяснить себе, какие бумаги переменены, какие нет, по каким проценты получены, по каким нет, какие застрахованы, какие вышли в тираж, сколько рублей лежит на текущем счете и сколько на вкладе, – я во всем этом безнадежно запуталась. В конце концов, дала полную доверенность дядюшке Платону: пусть и здесь он, еще раз, наживет с меня...

По вечерам, когда делать было нечего, я заставляла Лидочку читать мне вслух романы, которые подобает читать и ей (хотя тайком она, конечно, давно прочла и Мопассана, и Катюля Мендеса, и Вилли, и, вероятно, еще кое-что посильнее). Она читает тоненьким голоском, временами поглядывая на меня влюбленными глазами (она меня очень любит), а я думаю о Володе и жалею, что читает мне не он. Так прочли мы длинейший роман Троллопа, нашедшийся в нашей библиотеке, «Малый дом», который да отпустит ему господь в ряде всех других его прегрешений!

Единственная польза, какую принесло мне мое заточение, это та, что у меня оказалось достаточно свободного времени – обдумать свое положение. Первые дни по смерти Виктора я жила как сумасшедшая, как-то не думая, что надо начинать новый период жизни. Теперь же я обсудила все внимательно и осторожно, и вот мой *окончательный* вывод:

За Модеста замуж я ни в каком случае не выйду. Совершит ли он после моего отказа самоубийство или не совершит, мне до того дела нет. Модест – зверь опасный, от него можно всего ожидать, и я не хочу каждый вечер

класть голову в пасть тигру, хотя бы до поры до времени и ласковому. Но как только кончатся хлопоты по введению в наследство, я уеду за границу, на Ривьеру или в Швейцарию, и год или другой отдохну от своей замужней жизни. Мне надо стряхнуть и смыть с себя всю эту грязь, что пристала ко мне за годы *вынужденного разврата*... Что дальше делать, это будет видно.

7 октября

Сегодня ожидало меня объяснение совсем неожиданное.

Я давно замечала, что Лидочка как-то невесела, расстроена, бледна. Но за всеми моими делами, денежными и личными, у меня времени не было вникнуть в ее жизнь. Да и что удивительного, если девушка в 18 лет бледна и грустна: в эти годы такой быть и подобает.

Но сегодня, войдя нечаянно в комнату Лидочки, я застала ее в слезах над каким-то альбомом. Я вовсе не собиралась пользоваться своими правами старшей и, наверное, молча вышла бы из комнаты, если бы Лидочка, заметив меня, не разразилась вдруг рыданиями отчаянными, перешедшими в форменную истерику. Лидочка упала со стула, а когда я ее уложила на кушетку, билась в судорогах, смеялась и плакала вместе, и все ее лицо кривилось и перекашивалось.

Едва придя в себя, Лидочка с ужасом стала спрашивать:

– Ты прочла? Ты прочла?

– Успокойся, – возражала я, – я никогда не читаю ни чужих писем, ни чужих бумаг. Я ничего не прочла.

Лидочка твердила: «нет, ты прочла, прочла», и рыдала безнадежно. Наконец, с помощью разных капель и воды, я до какой-то степени Лидочку успокоила. Я предпочла бы ее ни о чем не расспрашивать, но всем своим поведением она как бы говорила мне: расспроси меня. Я покорилась с неохотой, настаивала против воли, а Лидочка сопротивлялась моим настояниям, хотя в глубине души ей хотелось уступить. Впрочем, я уверена, что свою роль она играла бессознательно, что ей самой в самом деле казалось, что она не хочет ничего говорить мне...

– Ты влюблена, Лидочка, не так ли? – говорю я. – Признайся мне, я твоя сестра.

– Да! да! да! – рыдает Лидочка.

– Что ж в этом страшного? Любовь всегда счастье. Если тот, кого ты любишь, также полюбит тебя – это счастье радости. Если нет, – это счастье горя. И я не знаю, которое из двух выше, прекраснее, благороднее. Второе – глубже и острее, но первое – шире и лучезарнее...

Лидочка рыдает.

– Потом тебе 18 лет, Лидочка. «Сменит не раз младая дева мечтами легкие мечты». Тебе не верится сейчас, что твои мечты – «легкие», тебе

кажется, что они тяжелее всей вселенной и раздавят тебя. И мне так казалось, когда я любила в первый раз. Но поверь опыту жизни: всякая любовь проходит, всякое чувство сменяется другим...

Лидочка рыдает.

– Ну скажи мне, девочка моя, кого ты любишь.

Лидочка молчит.

Я отнимаю ее маленькие руки от ее заплаканных глаз, целую ее в губы и говорю, стараясь придать голосу величайшую нежность:

– Скажи мне, твоей сестре, кого ты любишь.

И вдруг Лидочка вскрикивает:

– Тебя!

И опять падает ничком на кушетку, уронив руки, как плети, и опять рыдает.

– Опомнись, Лидочка!– говорю я. – Как ты можешь плакать от любви ко мне. Я твоя сестра, я тоже тебя люблю, нам ничто не мешает любить друг друга. О чем же твои слезы?

– Я люблю тебя иначе, иначе, – кричит Лидочка. – Я в тебя влюблена. Я без тебя жить не могу! Я хочу тебя целовать! Я не хочу, чтобы кто-нибудь владел тобою! Ты должна быть моя!

– Подумай, – говорю я, стараясь придать всему оборот шутки. – Сестрам воспрещено выходить замуж за братьев. А ты требуешь, чтобы я, твоя сестра, женилась на тебе. Так, что ли, дурочка?

Лидочка скатывается с кушетки на пол и на полу кричит:

– Ничего не знаю! Знаю только, что люблю тебя! Люблю твое лицо, твой голос, твое тело, твои ноги. Ненавижу всех, кому ты даешь себя целовать! Ненавижу Модеста! Затопчи меня насмерть, мне будет приятно. Убей меня, задуши меня, я больше не могу жить!

Лежа на полу, она хватает меня за колени, целует мои ноги сквозь чулки, плачет, кричит, бьется.

Я провозилась с Лидочкой часа два. Чтобы ее успокоить, я дала ей десяток разных клятв и обещаний, какие она с меня спрашивала. Поклялась ей, между прочим, что, по смерти Виктора, не люблю никого, и в частности не люблю Модеста.

– Он – противный, он – злой, – твердила Лидочка сквозь слезы. – Ты не должна его любить. Если ты будешь его целовать, я брошусь из окна на тротуар.

Я поклялась, что не буду целовать Модеста.

В общем, нелепое приключение! Быть предметом страсти своей родной сестры – это ситуация не из обычных. Но отвечать на такую любовь

я не могу никак. Всегда связи между женщинами мне были отвратительны.

XI

11 октября

Только что вернулась из камеры следователя, куда меня вызвали повесткой. До сих пор я вся дрожу от негодования. Это был не допрос, а сплошное издевательство. Не знаю, как должно мне поступить.

Меня раньше всего раздражил самый вид этого господина следователя. Едва войдя в камеру, я почувствовала, что его ненавижу. Он так худ, что мог бы служить иллюстрацией к сказке Андерсена «Тень». Лицо у него цвета землистого и голос надтреснутый: он производит впечатление живой пародии. И при всем том он нагл и груб.

Сначала следователь добивался, чтобы я разъяснила ему характеры наших прислуг. Но, право, если я и знаю кое-что о Глаше, о Марье Степановне, то ничего не могу сказать о черной горничной, о поварихе, о кучере; я даже их имен хорошенько не знаю.

– Скажите, у вашей горничной, Глафиры Бочаровой, есть возлюбленные?

– Спросите это у нее. Это ее частное дело, в которое я не вмешиваюсь.

– Тэк-с.

После длинного ряда таких пустых вопросов, очень меня утомивших, следователь вдруг, очевидно, чтобы поразить неожиданностью, спросил меня:

– Ска-ажите, а вам случалось принимать кого-либо у себя дома, ночью, без ведома вашего мужа?

Как говорится, кровь бросилась мне в голову от такого вопроса. Я отвечала, буквально задыхаясь:

– Не знаю, имеете ли вы право задавать мне такие вопросы. Я вам на них отвечать не буду.

Следователь стал перебирать какие-то бумаги, а в это время, не смотря на меня, говорил деловым тоном приблизительно следующее:

– Извините, сударыня. Правосудию все должно быть известно. Нам чрезвычайно важно установить, как убийца мог проникнуть в вашу квартиру. Вот тут у меня есть сведения, что в прошлом году вы были в близких отношениях с поручиком Александром Ворсинским и, во время отъезда вашего мужа в Варшаву, неоднократно принимали г. Ворсинского у себя, причем он оставался в вашем доме до позднего часа. Затем, сблизившись с свободным художником Модестом Никандровичем

Илецким, вы также...

Тут я не выдержала, вскочила, кажется, даже заплакала, сказала следователю, что он не смеет так обращаться со мной, что я буду жаловаться и т. п. Он же очень хладнокровно попросил меня успокоиться, подал мне грязными руками стакан воды, которой я, конечно, не стала пить, и, переждав несколько секунд, продолжал:

– Так вот, сударыня, правосудию очень важно знать, был ли кто-либо из ваших, гм... из ваших хороших знакомых вполне ознакомлен с расположением вашей квартиры.

– Вы что же думаете, что мужа убил мой любовник? – спросила я, преодолевая отвращение.

– Мы ничего не думаем – мы ищем.

После этого он допрашивал меня еще с полчаса, но я уже не помню, что ему отвечала; больше отказывалась отвечать. По той развязности, с какой следователь задавал мне свои наглые вопросы, я вижу, что он подозревает меня если не в самом преступлении, то в соучастии. Недостаёт только, чтобы меня арестовали и посадили в тюрьму: вот будет неожиданная развязка всех моих запутанных отношений!

XII

15 октября

Последнее время Модест, или лично, или по телефону, ежедневно осведомлялся о моем здоровье, и Глаша ежедневно отвечала ему, по моему приказу, что я не совсем здорова. Я не хотела видеть Модеста, боясь, что при личном свидании опять поддамся его влиянию. Сегодня Глаша передала мне карточку Модеста, на которой было написано:

J'ai á vous dire des choses très importantes. Je vous supplie de m'accorder quelques minutes d'entretien. M.^[3]

Я, наконец, решила принять Модеста.

Он вошел мрачный, поцеловал мне руку, несколько времени ходил молча взад и вперед по комнате, потом сказал:

– Талия, помнишь ты, что говорит у Шекспира Антоний Клеопатре после ее бегства из сражения?

Когда я откровенно призналась, что в этом отношении моя память изменяет мне, Модест продекламировал по-английски:

I found you as a morsel, cold upon
Dead Caesar's trencher!
nay, you were a fragment
Of Gneius Pompey's!^[4]

Смысл этих стихов я вполне поняла только потом, когда разыскала их в Шекспире (кстати сказать: в нашей жизни не так-то много Цезарей и Помпеев!), но и тогда, по самому тону Модеста, поняла, что он меня оскорбляет. Сердце у меня забилося, я сложила руки и сказала ему:

– Говорите прямо, в чем вы меня обвиняете.

– Я всегда знал, – продолжал Модест, как бы не услышав моего вопроса, – что истинная любовь женщине недоступна. Мужчина любви может пожертвовать всей своей жизнью, может погибнуть ради любви и будет счастлив своей гибелью. А женщина или ищет в любви забавы (и это еще самое лучшее!), или привязывается бессмысленно к человеку, служит ему, как раба, и счастлива этой своей собачьей привязанностью. Мужчина в любви – герой или жертва. Женщина в любви – или проститутка или мать. От любви убивают себя или мужчины, настоящие мужчины, зрелые люди,

понимающие, что они делают, или девчонки в шестнадцать лет, воображающие, что они влюблены. Это говорит статистика самоубийств. Требовать от женщины любви так же смешно, как требовать зоркости от крота!

Я повторила свой вопрос... Модест обернулся ко мне и произнес отдельно:

– Я вас обвиняю в том, что вы – лицемерка. Вы клялись мне в любви и со мной обманывали вашего мужа. А у меня есть несомненные доказательства, что с другим вы обманывали меня. Зачем вы это делали?

Когда на меня нападают открыто, я чувствую в себе силы неодолимые и готова идти на все. На минуту мне показалось, что желанный разрыв с Модестом, разрыв, который распутает все мои отношения, близок. И гордо я сказала Модесту:

– Не хочу отвечать вам. Это было бы недостойно меня.

Еще минуту я думала, что Модест, не сказав ни слова, повернется и выйдет из комнаты. Он страшно побледнел. Но вдруг весь он изменился, как-то осунулся, опустил в кресло и заговорил совсем другим, надломленным голосом:

– Талия! Талия! Зачем ты это сделала! Я знал многих женщин, многие меня любили безумно, вот с той собачьей преданностью, о которой я только что говорил. Но только в тебе, в твоём проституированном теле, в твоей эгоистической душе (записываю слово в слово) нашел я что-то такое, без чего уже не могу жить! Талия! Я готов отдать тебе всецело, тебе одной; только и ты отдайся мне так же! Мы уедем с тобой отсюда куда-нибудь на край света в Капштадт, в Мельбурн, на Лабрадор. Мы будем жить только друг для друга, я буду поклоняться тебе, как божеству, и буду счастлив, потому что буду с тобой.

– Модест, – возразила я, – дело ведь не только в том, чтобы был счастлив ты, но чтобы и я была счастлива.

После этих моих слов Модест ниже опустил голову и уже совсем тихим голосом договорил свою речь.

– Все кончено. Ты меня не любишь. Значит, я побежден. Ах, я слишком понадеялся на свои силы. Я думал, что все могу снести, даже разрыв с тобой! Нет! есть вещи, которые ломают меня, как ветер сухие стебли... Что ж, произноси мой приговор!

С последними словами Модест совсем уронил голову на грудь, и мне показалось, что он плачет. Так было непривычно видеть Модеста растроганным, притом до слез, что весь гнев у меня пропал. Растаяла моя твердость и обратилась в нежную снисходительность. Я села рядом с

Модестом и ласковым голосом стала его успокаивать...

Так прошло то мое свидание с Модестом, которого я так боялась. Модест вошел ко мне, как судья, как господин, а уходил от меня, как ребенок, которого приласкала старшая сестра. Он даже благодарил меня за все те клятвы и обещания, какие я ему дала, не заметив, что за ними была пустота!

Уф! Я чувствую, словно какие-то вериги спали у меня с тела! Модест плачущий, Модест, просящий у меня утешения, не страшен мне! Я победила. Я свободна. Мне хочется ликовать и петь пэан – так, кажется, называются победные песни?

XIII

16 октября

Почувствовав новую внутреннюю свободу, я поехала сегодня к Володе, которого последнее время забрасываю на целые недели. Я думала, что это мое посещение будет для него неожиданным подарком, которому он безумно обрадуется. Вышло совсем не так.

Встретил меня Володя угрюмо, сначала ничего не хотел говорить, потом плакал, еще после стал осыпать упреками, совсем как Модест. Причина? Сперва мальчик придумывал разные предлоги своего гнева, вроде того, что я румянюсь (глупый, он воображал, что мы употребляем румяна, как наши бабушки!), но, наконец, признался, он получил новое подтверждение того, что у меня связь с Модестом.

Как это скучно! Мужчины не довольствуются тем, что мы им отдаемся, и даже тем, что мы их любим. Каждому из них надобно, чтобы мы отдавались только одному ему и любили его так, как ему того хочется. Володя не понимает, что ему даже взять нечем того, что я отдаю в себе (душевно и телесно) Модесту, как и Модесту нечем взять того, что я отдаю Володе. Все твердят: я хочу тебя всю, но ни один не подумает, достаточно ли глубока и широка для того его душа!

Я очень резко сказала это все Володе, – конечно, не признаваясь в своей близости к Модесту, – и ушла от него, не сняв шляпы. Мне очень нравится этот мальчик, губы его пахнут, как земляника в июле, и всего его хочется искусать до крови, но больше я не допущу никаких уступок! Я преодолела в своей душе чувство к Модесту, преодолею и нежность к Володе. Если они оба идут к тому, чтобы я их бросила, тем лучше: я не испугаюсь остаться одна!

От Володи я заехала к Вере. Ее все называют моей подругой, и я, правда, люблю ее больше других. Мне только не нравится, что одевается она слишком дорого и крикливо – в этом дурной вкус. Я думала, что этот визит меня успокоит, но совсем напротив.

Прежде всего Вера опять облепила меня изъявлениями пошлых соблезнований, словно бумажками от конфет. Потом повела меня смотреть своего сына, показывала мне его новые игрушки и весьма искренно радовалась, когда я безразлично хвалила и игрушки и сына. Еще после, за кофе, она пересказала мне все сплетни за то время, что я не бывала в нашем «свете». Я узнала, какие из наших дам переменили любовников, но так как

действующие лица все одни и те же, то можно заранее вычислить по формуле, которую мы учили в алгебре, число возможных combinaisons^[5] из данного числа мужчин и женщин.

Наконец, Вера перешла к интимным признаниям и рассказала мне, как ее бросил ее француз, о чем я знала только смутно. При этом рассказе лицо Веры перекошилось, она стала некрасивой, слова стала выбирать грубые и вообще произвела на меня впечатление отвратительное. Говоря о Лидочке Веретеновой, которая оказалась ее счастливой соперницей, она сказала мне буквально следующее:

– Знаешь, Nathalie, я не могу ручаться за себя, что когда-нибудь в театре, в фойэ, не кинусь на нее и не изобью ее, как простая прачка.

Я уверена, что она говорила искренно. О, ревность! «чудовище с зелеными глазами», сказал Шекспир. Нет, слепой зверь!

XIV

18 октября. Поздно ночью

Уверяют, что бывают решения бессознательные. Наш мозг, незаметно для нас самих, вырабатывает суждения, которые руководят нашими поступками. Конечно, сегодня я подчинялась такому бессознательному решению.

Самой мне казалось, что я просто хочу вечером пройтись по улицам. Но почему я оделась как можно проще, надела свой старый, вышедший из моды, костюм, прошлогоднюю шляпку, опустила на лицо белую вуаль, позаботилась, чтобы меня не узнали? Лидочка, видя, что я ухожу вечером, выбежала ко мне с испуганными, широко открытыми глазами: должно быть, она подумала, что я собираюсь к Модесту.

– Милая девочка, я устала, хочу пройтись.

– Возьми меня с собой.

– Нет, мне хочется быть одной.

– Позволь заложить коляску.

– Не надо.

Я вышла. Был час сумерек. Зажигали фонари. На улице было серо, страшно, неприятно. Люди проходили мимо, торопливо, занятые.

Я шла без цели, вернее, без сознательной цели, и незаметно вышла на бульвары.

Ко мне «пристал» какой-то старичок, предлагая «прокатиться». Он был низенький и противный. Я перешла на другой тротуар.

Потом заговаривало со мной еще несколько уличных завсегдаев, из которых один соблазнял меня пятью рублями. Я отмалчивалась, они отставали.

Так я прошла до самого храма Христа Спасителя. Устала страшно. Около храма было причудливо. Каменное строение, прозрачно-белое, среди теней, казалось призрачным. А качающиеся тени электрических фонарей казались реальными и живыми.

Я постояла у каменного парапета сада; потом пошла назад. Минутами мне хотелось взять извозчика и ехать домой. Четверть часа спустя я, конечно, так и поступила бы.

На уровне Никитского бульвара меня догнал какой-то молодой человек. Он был в шляпе с большими полями и одет хорошо. Явно он был пьян.

Он мне сказал:

– Мадонна! позвольте мне быть вашим пажом.

Я посмотрела на его лицо с рыжеватой бородкой и ответила:

– Для пажа вы слишком стары.

– Тогда вашим рыцарем.

– А посвящены ли вы в рыцари?

– Меня посвятил славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский. Все это было глупо, но разве можно рассчитывать, что повстречаешь на улице «Помпея» или «Цезаря».

Я покорно шла рядом с незнакомцем, а он продолжал пьяную болтовню:

– Мадонна! На эту ночь я избираю вас дамой своего сердца. И своего портмоне, если вам угодно. Разве чувство измеряется фунтами и аршинами? Я буду вам верен одну ночь, но моя верность будет тверже, чем рыцаря Тогенбурга. У меня не будет времени вызвать на бой для прославления вашего имени великанов и волшебников, но я вызываю сон, всепобедный сон, и всяческую усталость и клянусь вам сражать этих демонов дотопе, доколе вам будет угодно делить со мной ваши часы. Для прославления вашего имени, сказал я, но я еще его не знаю.

– Как и я вашего.

– Меня зовут дон Хуан Фердинанд Кортец, маркиз делла Валле Оахаки. Я – новое воплощение завоевателя Мексики. Если же имя мое кажется вам слишком длинным, вы можете называть меня просто Хуаном.

– Позвольте называть вас Жуаном, потому что мое имя донна Анна.

– О, мадонна! Едем на наш пир, и да явится в свой час к нам статуя твоего покойного мужа. Командор! Приглашаю тебя, приди и стань на страже у дверей нашей спальни.

– Вам приходится передавать приглашение лично за неимением Лепорелло?

– Лепорелло ждет нас. Но, подобно божественной Дульцинее, превращенной в Альдонсу, злыми чарами обращен он в ресторанный официант. Едем, и вы его увидите!

Незнакомец сделал знак лихачу и предложил мне садиться в пролетку. Я повиновалась. Мы полетели вдоль бульвара, продолжая шуточный разговор.

Через несколько минут мы были в отдельной комнате гостиницы. На столе стояло шампанское. Так как оказалось, что мой спутник одет изысканно и, по всему судя, принадлежит к высшим слоям общества, я стала бояться, что впоследствии он меня где-нибудь встретит и узнает. Я

усердно наливала ему вина, и он пьянел.

Был страшный соблазн в том, что мы не знали друг друга, что мы, один для другого, вышли из тайны и должны были вернуться в тайну.

Незнакомец стал на колени передо мной и стал говорить:

– Донна Анна! Ты – прекрасна. Ты – прекраснее всех женщин, каких я видел на свете. Хочешь, я с сегодняшнего вечера порву свою жизнь пополам и отныне останусь с тобой навсегда. Буду твоим рыцарем, твоим пажом, твоим служителем. Мы уедем на твою истинную родину, в Севилью, или куда хочешь. Брось свою жизнь, отдайся мне, и я буду поклоняться тебе, как божеству.

В словах незнакомца было столько совпадений с речами Модеста, что мне стало жутко. Я постаралась стряхнуть с себя этот кошмар и повернуть наше свидание в другую сторону. Сделать это было не трудно...

Но когда незнакомец, немного спустя, восторженно целовал мне колени, жуткое чувство вторично овладело мной: мне представилось, что меня целует Володя.

Мы расстались под утро. Незнакомец настойчиво требовал, чтобы я дала ему свой адрес. Я назвала какие-то фиктивные буквы, предложив писать *poste-restante*.

Но я более никогда в жизни не хочу увидеть моего Дон Жуана.

Прощаясь, он, не без колебания, вложил мне в руку бумажку в двадцать пять рублей, Я взяла. Вот первая плата, которую я получила за продажу своего тела. Впрочем, нет: раньше мне за то же платил мой муж.

19 октября

У меня голова кружится от тех открытий, которые я сделала. В первый раз в жизни я боюсь окончательных выводов. Мне страшно мыслить.

Сегодня я проснулась поздно и медлила вставать. Сознаюсь, мне страшно было встретиться с Лидочкой. Лидочка знала, что я вернулась домой поздно ночью, и могла думать, что ночь я провела у Модеста.

Вот почему мне стало очень не по себе, когда в столовой, где я пила кофе, ко мне подошла Лидочка.

- Наташа, мне надо говорить с тобой.
- После, моя девочка, я утомлена очень, у меня голова болит.
- Нет, нет, теперь.

Допивая кофе, я рассматривала Лидочку. Лицо ее было бледно, без следов слез, выражение глаз какое-то сухое и решительное.

Мы перешли в маленькую гостиную, и Лидочка здесь спросила меня:

- Знаешь, кто здесь был вчера?
- Где здесь?
- У нас.
- Кто же?
- Модест Никандрович.
- Что ж такого. Он не застал меня дома. Приедет другой раз.

Мне пришло в голову, не хочет ли Лидочка дать мне понять, что Модест, не застав меня дома, так сказать, уличил меня в неверности себе. Но Лидочка, с расчетом на свое торжество, продолжала, прямо глядя мне в лицо:

- Он был не у тебя. Он был у нас в доме тайно.
- Ты говоришь глупости. У кого же он был?
- У Глаши.

Это было абсурдно. Я стала расспрашивать. Лидочка рассказала, что она давно подметила какие-то странные отношения между Модестом и Глашей. Вчера, когда меня не было дома, Лидочка по разным признакам догадалась, что Глаша в своей комнате не одна. Лидочка стала следить и около полуночи видела, как Глаша черным ходом выпускала Модеста. Оба они что-то говорили очень оживленно, но вполголоса, и, уходя, Модест поцеловал Глашу в губы.

- Видишь, – с усилием сказала Лидочка, – ты его любишь... а он...

обманывает тебя... с твоей горничной.

Рассказ Лидочки взволновал меня сильно, так что сердце начало у меня в груди колотиться, как соскочившее с пружины. Кое-как успокоив Лидочку, я ее отослала и позвала к себе Глашу.

С Глашей говорить пришлось недолго. Она после первых вопросов созналась и, по какому-то атавистическому влечению, повалилась мне в ноги.

Да, она любовница Модеста. Он ее уверил, что любит ее, а за мной ухаживает из чести (как не стыдно ему было повторять Молчалинские слова!). Он обещал взять ее жить к себе и делал ей дорогие подарки. Возил ее кататься за город, и поил шампанским, и потом «пользовался ее слабостью и доверчивостью». А я ничего не знала и не замечала!

Но вот что самое важное. Модест был у Глаши в ночь на 15 сентября, т. е. в ночь убийства. Правда, она сама проводила Модеста и закрыла за ним дверь еще раньше полночи и, возвращаясь к себе, слышала шаги Виктора Валерьяновича, который ходил взад и вперед по кабинету. Следовательно, убийство совершилось после того, как Модест вышел из нашей квартиры. Но разве не мог он переждать несколько времени на лестнице и вернуться с помощью заранее подобранного ключа? Эта мысль сразу явилась мне и засела у меня в мозгу, словно отравленная стрела.

«Современный человек должен уметь все: писать стихи и управлять электрической машиной, играть на сцене и убивать», – припомнились мне слова Модеста, записанные в этом дневнике.

Что до Глаши, то ей, кажется, такие подозрения не приходили в голову. Но, по ее словам, Модест был очень напуган, узнав об убийстве, тотчас вызвал ее и строго запретил ей говорить кому бы то ни было о том, что был у нее накануне... Глаша исполнила его требование, но совесть ее мучит и ей хочется пойти все «открыть» следователю.

Разумеется, Глаша рассказывала мне все это длинно и сбивчиво, прерывая слова всхлипываниями и рыданиями. Я поняла теперь, почему Глаша все время, со дня убийства, ходит расстроенной и подавленной. Чтобы хранить большую тайну, надо иметь душу воспитанную: простым существам это не под силу.

Что я могла ответить Глаше? Я ей сказала, что доносить на Модеста, конечно, не надо. Что он поступил дурно, соблазнив бедную девушку, но к убийству, во всяком случае, не причастен, и было бы зло впутывать его в это дело. В заключение я обещала Глаше, что поговорю об ней с Модестом и заставлю его позаботиться об ней как должно.

С Глашей мы расстались друзьями.

О Модесте мне еще надо будет думать, и много думать. Но чего же теперь стоят все его слова о верности и об изменах? Как негодовал он на то, что я ему «изменяю». Ах, люди!

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей!

XVI

21 октября

Я получила ужасное письмо от Володи. Было в его словах столько отчаянья, что я поехала к нему тотчас. Но последнее время все мои свидания кончаются плохо.

Неудачи начали меня преследовать еще на улице.

Я, разумеется, не могла взять нашей лошади и вышла пешком. Через несколько шагов догнал меня какой-то человечек и стал, кланяясь, что-то говорить.

– Я вас не знаю, – сказала я, – что вам надо?

– Помилуйте-с, – возразил человечек, – я дяденька горничной вашей, Глаши, Сергей Хмылев, изволили припомнить?

Узнав, с кем я имею дело, я сказала твердо:

– Я вас просила меня оставить. Если вы не отстанете, я позову городского.

– К чему тут полиция, – возразил Хмылев, – это дело деликатное, его надо без посторонних свидетелей проводить.

Я чувствовала, что в руках этого человека конец нити из запутанного клубка событий. Много ли ему известно, я не знала, но была убеждена, что что-то известно. Я медленно шла по тротуару, а Хмылев семенил за мной и говорил:

– Напрасно вы нами презираете, Наталья Глебовна. Мы люди маленькие, но на маленьких людях мир стоит. Что я у вас прошу: позволения явиться и представить некоторые документки и соображения, – всего только. Вы то и другое рассмотрите и решите, стоит ли оно, чтобы заплатить следуемую нам сумму.

– Один раз я уже отказала вам наотрез, – произнесла я отрывочно. – Почему же вы не представили ваших документов в другое место? Видно, они не многого стоят!

– Эх, барыня! Представить документки не долго. И будет то, может быть, кому-нибудь и очень неприятно. Но ведь мне-то никакой из того прибыли не будет или самая малая... А что я с вас прошу? При вашем капитале двадцать тысяч для вас гроши-с, не заметите, если отдадите...

Я сказала медленно:

– Хорошо, я подумаю. Приходите через неделю.

– Нет-с, – возразил Хмылев, – через неделю поздно-с будет. Дольше

трех дней ждать никакой возможности не имею.

– Как угодно, – сказала я.

Тотчас я села в пролетку ближайшего извозчика и приказала ехать, не слушая, что мне еще говорил Хмылев. Но в душе я досадовала сама на себя и не знала, хорошо ли я поступила, отказав Хмылеву. Может быть, следовало рассмотреть его «документики». Я, впрочем, надеялась, что он еще раз явится ко мне.

Вдруг на повороте из Настасьинского переулка какой-то человек прыгнул с тротуара, замахал руками и остановил моего извозчика. Я узнала своего рыжего Дон Жуана.

– Донна Анна! Донна Анна! – восклицал он. – Я брошусь под колеса, если вы не отзоветесь. Я помешался с того дня, как встретил вас. Я не могу без вас жить.

Редкие прохожие останавливались и смотрели на скандальную сцену.

– Etez-vous fou, monsieur, je ne vous connais pas^[6], – сказала я почему-то по-французски.

Извозчик хлестнул лошадь. Незнакомец минуты две еще бежал за моей пролеткой, потом отстал.

Настроение мое окончательно испортилось. То была уже не досада, а какая-то злоба на себя и на весь мир...

В тот же день

Приезжала Вера, прервала меня, сидела час, говорила глупости. Продолжаю.

Володю я нашла в состоянии крайнего возбуждения. Он исхудал, словно после жестокой болезни. С горящими зрачками он имел вид маленького пророка.

В чем дело? Ах, он узнал все, и окончательно, о моих отношениях к Модесту; ему даже передали мое письмо к Модесту, которое тот ухитрился где-то потерять.

На этот раз сведения Володи оказались столь точными, что мне осталось только удивляться, кто мог ему сообщить их. Одно я могу предположить, это – что в доносе участвовал сам Модест. Чтобы избавиться от соперника, он известил его о самом себе и сам подослал ему одно из моих писем (не могу я поверить, что Модест «потерял» его!). Такой дьявольский план достоин черной души Модеста.

Во всяком случае, отпираться было невозможно. Я сказала Володе прямо, что он мне нравится, но что мне его маленькой души мало. Что слишком многого во мне он не может понять. Что во многом он не может

быть моим сотоварищем. Он нежен, робок, правдив, добродетелен. Это все мне нравится. Но, кроме того, я люблю мужскую силу, люблю страсть, люблю искренность и изысканность чувств. Если он хочет ставить точки на *i*, я – развратна. Такой меня создал бог или жизнь, и я хочу оставаться сама собой. Мне, как спутник, как друг, как любовник, нужен человек, который был бы способен меня понимать всю, отвечать на все запросы моей души. Если нет такого одного, мне нужно двоих, троих, пятерых, почему я знаю сколько! Пусть он, Владимир, усложняет и возвышает свою душу, пусть он дорастает до меня, пусть он одолеет меня в поединке любви – и я буду рада оказаться побежденной. Но поддаваться или притворяться побежденной я не хочу.

Приблизительно так я говорила Володе. Он тихо рыдал. Мне было его очень жалко и хотелось поцеловать в его темную голову, в милый, любимый мною затылок. Но я себя преодолела, решив высказать всю правду.

– Итак, вы играли мною, – сказал между рыданиями Володя, – играли, как дети играют плюшевым медведем...

– Я любила тебя, мальчик!

Едва я это сказала, как с Володей сделался настоящий припадок иступления. Он вскочил и стал кричать мне:

– Лжешь! Весь мир знает, что такое любовь, а вы и вам подобные исказили смысл этого слова! Вы обратили любовь в какую-то игру в бирюльки. Вы постоянно твердите о любви, только и делаете, что рассматриваете свое чувство, но все это у вас в голове, а не в сердце! Для вас любовь или разврат, или математическая задача. А любви как любви, как чувства одного человека к другому вы не знаете.

– Твои слова, – сказала я холодно, но мягко, – только доказывают мне еще раз, как ты от меня далек. Как же ты требуешь, чтобы я всю себя отдала тебе, когда ты меня даже не понимаешь? А если я столь изменна, как ты говоришь, зачем ты от меня требуешь, чтобы я тебя любила?

Я старалась говорить сдержанно и вообще за все время свидания не позволила себе ни одного резкого или жестокого слова. Но Володей решительно владел какой-то демон, потому что, не слушая моих доводов, он вновь стал кричать на меня. Должно быть, он многое передумал в одиночестве последних дней, и теперь все эти думы беспорядочным потоком вырывались из его души.

– У меня было свое дело, – продолжал Володя. – Я был маленьким колесиком, но в великом механизме, который работал на благо целого народа и всего человечества. Я был счастлив своей работой, и у меня было

удовлетворение в сознании, что жизнь моя нужна на что-то. Ты меня вырвала из этого мира, ты меня, как сирена, зачаровала своим голосом и заставила сойти с моего корабля. Что же ты мне дала взамен? Жизнь, которая любовь ставит в центр мира как божество, а потом самую эту любовь подменяет лицемерием, фальшью, притворством! Ты научила меня жить одним чувством, а сама вместо чувства давала мне искусную ложь! Ты постепенно коварством и ласками довела меня до того, что я стал твоим альфонсом. Мне страшно встречаться с прежними друзьями. Я стыжусь своей жизни, своего лица, своих рук!

Володя кричал долго, беснуясь. Я пыталась возражать, он не давал мне вымолвить слова. Я сложила руки и молча смотрела на него. Наконец, в слепой ярости, Володя схватил с этажерки томик Тютчева, бросил его на пол и стал топтать. Мне удалось сказать:

– Научись тому, что первый признак культурного человека – уважение к книге.

– Проклинаю ваши книги, – закричал в ответ Володя. – Все вы книжные, и чувства ваши книжные, и поступки книжные, и говорите так, словно читаете книгу. Не хочу я вас больше! Хочу на волю, к жизни, к делу!

Конечно, в том, что говорил Володя, было немало правды (потому-то я и записываю здесь его слова), но я не могла уступить ему. Надо было раз навсегда отстоять свою свободу. Я сказала Володе все с прежней холодностью:

– Ты молод. У тебя вся жизнь впереди. Вернись к своим друзьям-революционерам. Вероятно, они примут вновь в партию заблудшего товарища.

Поправив шляпу, я пошла к выходу.

Видя, что я ухожу, Володя побледнел смертельно, загородил мне дорогу, стал на колени. Задыхаясь, не договаривая слов, он начал умолять меня не покидать его. Он просил прощения во всем, что говорил, и назвал себя безумцем.

Я готова была заключить мир. Но когда понемногу между нами начали устанавливаться добрые отношения, Володя вдруг поставил такое требование:

– Но ты поклянешься мне, что отныне будешь принадлежать мне одному? ты тому пошлешь тотчас письмо, что все между вами кончено?

– Ты опять сумасшествуешь, – сказала я.

– Я требую, – повторил Володя, вновь побледнев.

Тогда я ответила решительно.

– Своими поступками я хочу распоряжаться сама. Не могу допустить,

чтобы кто-либо с меня что-либо требовал. Бери меня такой, какова я, или ты меня не получишь вовсе.

Я вновь направилась к двери. Володя вновь загородил мне дорогу. Весь бледный, он стоял, простерев руки, словно распятый.

– Ты не уйдешь, – проговорил не он, а его губы. Покачав головой, я попыталась отстранить его от двери. Володя упал на пол и охватил мои ноги.

– Если ты уйдешь, я убью себя.

Я с силой растворила дверь и вышла.

Что удивительного, что после такого вечера я сегодня показалась Вере неинтересной. То есть она мне сказала, что я выгляжу нездоровой. Но я знаю, что значит это слово в устах женщины.

XVII

23 октября

Итак, свершилось.

Моя судьба решена, и решена неожиданно.

Всю ночь меня преследовал образ юноши, распятого у двери. Я просыпалась от кошмаров, и мне слышались слова Володи: «Если ты уйдешь, я убью себя». Утром я встала в такой тоске, сносить которую не было сил.

– Да ведь это же любовь!– вдруг сказала я самой себе. – Ты любишь этого мальчика, гибкого, как былинка. Зачем же ты отказываешься от любви: разве в этом свобода?

Едва я это подумала, как мне показалось, что все решается очень легко. Я тотчас села к столу и без помарок, сразу, написала два письма: Володе и Модесту.

Володю прежде всего я просила простить меня. Я писала ему, что отказалась вчера послать то письмо, которое он требовал, только ради отвлеченного принципа, чтобы сохранить свою свободу. Но что на деле я вполне и окончательно порвала все с «тем другим» (т.е. с Модестом). Я писала еще, что твердо решила в самом скором времени уехать надолго, на несколько лет в Италию и хочу, чтобы он, Володя, ехал со мной...

Модесту письмо я написала гораздо более короткое и сухое, всего несколько фраз. Я напоминала, что Модест дал мне месяц срока, чтобы ответить на его предложение. Но, говорила я, уже теперь мой ответ мне вполне известен, и я могу ему сказать, что никогда его женой я не буду. В заключение я писала, что, согласно со словами Модеста, считаю, после моего письма, все наши отношения конченными и прошу более не пытаться видеться со мной. Хотела было я прибавить просьбу – возвратит мои письма, которыми Модест, по-видимому, не дорожит, так как они попадают в чужие руки, но это показалось мне слишком банальным.

Сначала я думала послать оба письма одновременно, но какой-то инстинкт предосторожности удержал меня. Я отправила только одно письмо – Модесту.

Тотчас же я получила и ответ. Модест преклонялся перед моей волей, но просил последней милости: приехать к нему проститься. После некоторого колебания я согласилась.

Все, что случилось на этом свидании, было для меня и непредвиденно

и чудесно. И чувства, которые я пережила за эти часы, проведенные с Модестом, принадлежат к числу самых сильных, какие я испытывала когда-либо.

Непредвиденное ждало меня тотчас за дверью квартиры Модеста. Он встретил меня не в своем обычном костюме, но в странной восточной хламиде, расшитой золотом. Обстановке комнат тоже был придан восточный, древнехалдейский характер. Картины со стен были сняты.

Я вспомнила слова тамап, что Модест сумасшедший, и испугалась.

– Модест, ты не помешался? – спросила я.

– Нет, царица! Но эти священные часы нашего с тобой прощания я хочу провести вне ненавистой и нестерпимой стихии современности. Тебя, как и меня, равно мучит пошлость нашей жизни, и я не хочу, чтобы в наши последние воспоминания врвалось что-нибудь из нее: звонки телефона или свистки автомобиля. Я хочу на несколько часов погрузить тебя и себя в более благородную атмосферу.

Комнаты Модеста оказались преображенными: они были все убраны в древнеассирийском стиле. Модест откуда-то достал множество статуй и барельефов, изображающих ассирийских богов и царей, увесил стены странным, древним оружием, лампочки превратил в факелы, весь воздух напоил какими-то сильными, пряными духами и курениями. Я себя чувствовала не то в музее, не то в храме, мне было странно и не по себе, но действительность как-то отошла от меня, и я почти забыла, зачем я здесь.

Модест долгое время ни словом не напоминал ни о моем, ни о своем письме. Он совершенно серьезным тоном, словно только за этим приглашал меня, рассказывал мне мифы о герое Издубаре и о схождении богини Истар в Ад. На какой-то странной дудке он играл мне простую, но своеобразную мелодию, которую назвал гимном Луне. Потом он шептал мне нежные признания в своей любви, превращая их почти в псалмы, говоря кадансированной прозой, употребляя пышные, чисто восточные выражения.

От аромата курений у меня кружилась голова. Одно время я плохо сознавала, что я делаю и говорю. И о цели своего приезда я почти совсем забыла. Мне было хорошо с Модестом, и я не спешила уезжать.

Мы перешли в спальню. Вместо постели в ней было сооружено высокое ложе, поставленное на изображении четырех крылатых львов. В глубине комнаты на треножнике курились легким дымом какие-то сильно пахнущие снадобья.

– Может быть, ты хочешь меня усыпить и убить? – спросила я.

– Нет, моя царица, – возразил Модест, – я хочу убить воспоминания

только. Это жертва бескровная. И еще я хочу молить древних богов, чтобы они послали нам ту полноту страсти и то самозабвение, какое знали люди их времен. Хочу молить, чтобы меня поддержал герой Мардук, а тебе дала силы богиня Эа.

Без малейшей черты шутки или игры Модест бросил на жаровню какие-то зерна и пал ниц. Длинная его одежда распростерлась на полу, и черная его голова коснулась самого пола. Ему так шла эта жреческая поза, что я почти почувствовала себя в древнем Вавилоне, ночью, в башне, отроковицей, ждущей сошествия бога Бэла... Я на время забыла все свои мучительные мысли и самую свою жизнь, помнила только, что я наедине с ним, с мужчиной, с тем, кому я должна принадлежать...

Обычно я во все минуты, даже в самые интимные, сохраняю полное обладание своим сознанием. Но этот раз час, прошедший на ассирийском ложе, в полутемной комнате, в запахе пряных курений, показался мне каким-то слиянием яви и сна, чем-то, стоящим на границе действительности и мечты. Я говорила что-то, слушала какие-то речи, но не сумела бы записать их здесь, пером по бумаге, в грамматически правильных предложениях: то было нечто иное...

Понемногу словно из редеющего тумана стали выступать передо мной слова Модеста:

– Все же я тебя любил, царица, любил всей полнотой чувства, не знающего предела и не желающего границ. Что бы ни совершала ты, что бы ни совершал я, отвечала ли ты мне на любовь или оскорбляла меня, отваживался ли я на великий подвиг или на низкое преступление, эта любовь оставалась неизменной. И что ни ждет нас в будущем, жизнь или смерть, существование или небытие, в этом мире и в других мирах, я буду любить тебя. Уеду ли я на свой далекий итальянский остров или направлю себе прямо в сердце ассирийский клинок, я буду любить тебя. Буду изнемогать от ненужной жизни, благословляя твое имя, и в минуту смерти позову тебя, потому что, кроме любви к тебе, нет, не было и не будет у меня божества!

Долго я слушала эти ласкательные речи, полузакрыв глаза, убаюкиваясь нежными словами, как милой музыкой, но вдруг села на ложе и, смотря Модесту в лицо, спросила:

– Модест, это ты убил моего мужа, Виктора?

Никогда не видела я, чтобы люди так бледнели, как побледнел Модест при моем вопросе. При слабом свете завуалированных электрических лампочек, изображавших факелы, лицо Модеста показалось мне блее белого цвета. Его глаза остановились на мне с тем выражением ужаса,

какое можно видеть лишь на картинках. Должно быть, с полминуты длилось молчание, и в этой комнате, похожей на склеп, стояла такая тишина, что треск пламени на треножнике производил впечатление страшного грохота.

Медленно Модест также сел рядом со мной и произнес тихо:

– Я.

И снова мы молчали сколько-то времени. Потом я опять спросила:

– Зачем ты это сделал?

– Я люблю тебя, – ответил Модест.

– Неправда, – грубо возразила я, – ты все требовал, чтобы я вышла за тебя замуж. Ты хотел тех денег, которые достались мне после мужа!

С сильным подъемом Модест ответил мне:

– Клянусь тебе всеми святынями, которые мы с тобой признаем, клянусь Искусством, клянусь Любовью, клянусь Смертью (эти большие буквы были в его голосе) – это неправда! Я совершил свой поступок, чтобы обладать тобой безраздельно. Если ты знаешь мою душу, ты должна понять, что деньги сами по себе не могут быть для меня соблазном. Да, я – убил. Убил затем, чтобы в своей любви пройти до последнего предела. Убил затем, чтобы сознавать, что из любви к тебе я пожертвовал всем: своим именем, своей жизнью, своей совестью. Я хотел убедиться в своей силе и узнать, достоин ли я обладать тобой. И вот я побежден, увидел, что я бессилён, как все другие, увидел, что тебя я недостоин, и ты отвергла меня – и я покорно принимаю свой приговор. Теперь казни меня – ты имеешь на то право, но не оскорбляй подозрениями, которых я не заслужил.

Модест, произнося эту речь, был прекрасен. С обнаженной грудью и шеей он был похож на ассирийского героя. И вдруг какое-то совершенно новое чувство выросло в моей душе, сразу, в одну минуту, как, говорят, вырастает чудесное деревцо в руке факиров. Вдруг Модест предстал предо мной во весь свой рост, и я, наконец, поняла, какая таится в нем сила, схватила его за плечи, наклонила свое лицо к его лицу и воскликнула с последней искренностью:

– Нет, Модест, нет! Не называй себя побежденным! Все, что я говорила и писала тебе, – неправда. Я тебя люблю, и я буду твоей – твоей женой, рабой, чем хочешь. И ты будешь жить, и мы будем счастливы!

Модест смотрел на меня, словно не понимая моих слов, потом проговорил угрюмо:

– Итак, ты меня прощаешь... Но знаешь ли ты, что я сам не могу простить себе? Больше мне ничего не должно таить от тебя, и я тебе сознаюсь: мне страшно того, что я совершил. Я думал, что моя душа

выдержит испытание, что она – иная, чем у других. Что же! я мучусь, как самый обыкновенный преступник, чуть ли не угрызениями совести!

Мне бывает страшно оставаться одному ночью в комнате! Вот почему я говорю, что я побежден. И ты должна оставить меня, Талия, потому что я оказался недостойн тебя... Ты была права в своем письме...

Но во мне уже было только одно чувство – безмерный, неодолимый восторг перед этим человеком, который посмел совершить и совершил то, на что современный человек не смеет отважиться. В ту минуту Модест мне казался истинным «übermensch»^[7], и я хотела лишь одного – спасти его. Я ему сказала:

– Полно, Модест! Твои страхи – временное расстройство нервов, которое ты сумеешь одолеть. Иди же до конца, если ты уже совершил решительный шаг. Теперь тебе говорить об отступлении, о бегстве – стыдно. Будь тем, каким я тебя хочу видеть, – и в награду я тебе отдаю себя, всю, вполне, как ты этого всегда хотел.

Я не лгала, я именно так чувствовала в те минуты. Я ободряла Модеста, я напоминала ему его прежние слова, я обращалась к его уму и к его гордости... Понемногу мрачное выражение сошло с лица Модеста, он поддался моему влиянию, он вновь стал самим собой, сильным, решительным...

И вот исчезли два любовника, которые за полчаса перед тем были в этой комнате: на их месте оказались два сообщника. Мы бросили все споры о любви и свободе в любви, которые еще так недавно казались нам важнее всего на свете. Мы стали говорить деловым тоном о том, что должно теперь делать.

Я доказала Модесту, что он напрасно так полагается на свою безопасность. Слишком много людей замешано в это дело. Я ему напомнила о Глаше и рассказала о последней моей встрече с Хмылевым. Рассказала, каким образом сама разгадала страшную тайну. Теперь одного неосторожного слова достаточно, чтобы поселить в ком не следует подозрение...

В конце концов мы порешили, что Модест должен не медля выехать за границу и жить там под чужим именем. Я же должна дождаться своего утверждения в правах наследства и тотчас обратить все свое состояние в наличные деньги. После этого я присоединюсь к Модесту, и на несколько лет мы уедем куда-нибудь далеко, хотя бы в Буенос-Айрес...

От Модеста я вышла рано: не надо подавать повода к лишним толкам. Вернувшись домой, я разорвала письмо, написанное Володе.

Боже мой! а что, если эти строки попадут кому-нибудь на глаза? Что из

того, что я храню свой дневник в тайном ящике. Есть руки, которые проникают всюду.

Эти страницы надо вырезать.

XVIII

24 октября

После того, как я записала здесь признание Модеста, я решаюсь взять этот дневник в руки, только заперев дверь комнаты. Но я должна сохранить для самой себя то, что пережила сегодня.

Утром я получила письмо от Володи. Он прощался со мной и писал, что не может более жить после того, как я, его святыня, для него осквернена... Я тотчас поехала к нему, но было уже поздно. Письмо он велел отнести мне только утром, а сам в полночь выстрелил себе в сердце. Его повезли в больницу, но по дороге, в карете «скорой помощи», он умер.

Смотреть тело Володи я не поехала: это было бы слишком жестокое испытание для моих нервов.

Несмотря на то, облик Володи преследует меня, как кошмар. Везде вижу его бледное лицо, какой он был, когда, распятый, преграждал мне дорогу к двери. Этот лик мерещится мне и на подушке, и на белой стене, и в раскрытой книге. Его губы скривлены, словно он хочет проклясть меня. Надо овладеть собой, преодолеть волнение, иначе я помешаюсь...

Его последние слова ко мне были: «Если ты уйдешь, я убью себя». Но сколько раз прежде он говорил мне, что убьет себя. Я тоже уходила, не слушая его угроз, и он не стрелял в себя из револьвера. Могу ли я, по совести, принять его кровь на свою душу?

И все же, если бы я не ушла, если бы еще раз успокоила его нежностью и лаской, еще раз обманула его обещаниями и клятвами...

Что же! это только отсрочило бы события...

А если бы я совсем не становилась на пути его жизни, не смущала его наивной души, не вовлекала его в мир страстей, для бурь которого оказался он слишком слабым, слишком хрупким?

Господи! Разве я виновата, если люблю и если меня любят! Никогда я не требовала любви. Я искала лишь одного: чтобы те, кто мне нравится, пожелали провести со мной столько-то часов или дней, или недель. Если мне отказывали, я покорялась, не добиваясь более. Всем я предоставляла свободу любить меня или нет, быть мне верными или покидать меня. Почему же мне не дают такой же свободы, требуют, чтобы я непременно любила такого-то, любила именно так, как ему угодно, и столько времени, сколько ему угодно, т. е. вечно? А если я отказываюсь, он убивает себя, а мне весь мир кричит: ты – убийца!

Я хочу свободы в любви, той свободы, о которой вы все говорите и которой не даете никому. Я хочу любить или не любить, или разлюбить по своей воле или пусть по своей прихоти, а не по вашей. Всем, всем я готова предоставить то же право, какое спрашиваю себе.

Мне говорят, что я красива и что красота обязывает. Но я и не таю своей красоты, как скупец, как скряга. Любуйтесь мною, берите мою красоту! Кому я отказывала из тех, кто искренно добивался обладать мною? Но зачем же вы хотите сделать меня своей собственностью и мою красоту присвоить себе? Когда же я вырываюсь из цепей, вы называете меня проституткой и, как последний довод, стреляете себе в сердце!

Или я безнадежно глупа, или сошла с ума, или это – величайшая несправедливость в мире, проходящая сквозь века. Все мужчины тянут руки к женщине и кричат ей: хочу тебя, но ты должна быть только моей и ничьей больше, иначе ты преступница. И каждый уверен, что у него все права на каждую женщину, а у той нет никаких прав на самое себя!

Володя, любимый мой Володя, милый мальчик, сошедший с портрета Ван-Дика! Как мне хорошо было с тобой, в черной гондоле, на канале, где-нибудь около Джованни и Паоло, слушать венецианские серенады и смотреть в твои скромные глаза под большими ресницами! Как мне хорошо было с тобой в нашей комнате, которую потом ты убрал гравюрами с Рембрандта, где ты проводил дни и недели, ожидая моего прихода! Какие у тебя были ласковые губы, пахнувшие, как земляника в июле, какие нежные плечи, как у девочки, которые хотелось искушать в кровь, как умел ты лепетать слова наивные и страстные вместе... Никогда больше я тебя не поцелую, не обниму, не увижу, мой мальчик!

Прости меня, Володя, хотя я и не виновата в твоей смерти. Я отдавала тебе все, что могла, а может быть, и больше. То, чего ты требовал, я отдать не могла.

Но не надо думать, не надо, а то я помешаюсь. Одолеть волнение, овладеть собой, забыть этот облик распятого у двери юноши! А, как тяжело мне сегодня!

XIX

Около года спустя

С отвращением беру я в руки эту тетрадь. Мысль, что чужие пальцы перелистывали эти страницы, что чужие глаза читали мои самые интимные признания, делают ее для меня ненавистной. Но, просто и коротко, все же запишу я о последних событиях в моей жизни, чтобы повесть, начатая здесь, не осталась без окончания.

Через день после самоубийства Володи Модеста арестовали. Арестовали на вокзале, когда он уже готов был ехать в Финляндию, а оттуда за границу. Оказалось, что его подозревали уже давно, только старались собрать больше улик и потому до времени оставляли на свободе. Затем арестовали и меня, так что несколько недель я провела в самой настоящей тюрьме, пока дядя не взял меня на поруки, под залог.

Мой дневник сначала попал в руки полиции, которая, производя у меня обыск, ухитрилась отыскать его в потайном ящике моего письменного стола. Однако дяде Платону, как моему доверенному лицу, удалось добиться, что этот дневник был ему возвращен среди разных «ничтожных» бумаг, а не передан следователю и не приобщен к числу «вещественных доказательств». Иначе были бы все улики для обвинения меня если не в соучастии, то в «недонесении» на преступника, который был мне известен. Всего вероятнее, что присяжные меня оправдали бы, но мне пришлось бы пережить все унижения суда. Теперь же предварительное следствие выяснило мою «непричастность» к преступлению, и мне не пришлось садиться на «скамью» подсудимых, под лорнеты моих прежних подруг...

Так, по крайней мере, изъяснял мне ход дела мой дядя Платон, который взял с меня за хлопоты десять тысяч. Эти деньги, по его словам, пошли на «подмазку» кого следует... Я не очень-то доверяю всему этому рассказу и скорее склонна думать, что мой дневник если был у кого в руках, то не у полицейских, а только у самого дядюшки, и что десять тысяч рублей целиком остались в его карманах. Но, право, не таково было мое положение, чтобы торговаться или спорить, и я с удовольствием отдала бы впятеро больше, только бы избавиться от позора.

Против Модеста улики были подавляющие. Глаша рассказала все и еще припомнила, что после одного посещения Модеста пропал ключ от черного хода, так что пришлось сделать новый. Среди предметов, найденных в комнате мужа после убийства, оказалась пуговица с рукава

костюма Модеста: Виктор, защищаясь, схватил Модеста за рукав и оборвал ее. Выяснили определенно, что в ночь убийства Модест вернулся к себе лишь под утро, и т. д.

Впрочем, Модест и не спорил с очевидностью. Когда он увидел, что обстоятельства обличают его, он сознался и рассказал подробно, как совершил свое преступление. При этом он со всей твердостью стоял на том, что мне ничего не было известно, ни до убийства, ни после, что никогда, ни одним словом, не давал он мне понять, что убийца – он. Говорят, что эта твердость оказала мне большую услугу. Если бы Модест обмолвился, что признавался мне в своем поступке, не миновать бы мне скамьи с жандармами...

Газетные писаки хорошо поживились около этого скандального дела. Сначала, когда я читала все, что писалось в «прессе» о Модесте, обо мне и моем муже, со мной делались припадки ярости от сознания своего бессилия перед наглыми оскорбителями. Хотелось куда-то побежать, кому-то плюнуть в лицо... Потом – потом я перестала читать газеты и вдруг поняла, что все написанное в них не имеет ровно никакого значения.

Мотивом своего преступления Модест объявил ревность. По его словам, он был ослеплен своей любовью ко мне и не мог переносить мысли, что кто-то другой со мной близок. Модест рассказывал, что, проникнув ночью в кабинет к Виктору, он потребовал, чтобы Виктор дал мне добровольно развод. Когда Виктор отказался, Модест в раздражении, не помня себя, схватил лежавшую на этажерке гирю и убил соперника... Конечно, этот рассказ никому не мог показаться правдоподобным, потому что непонятным оставалось, зачем Модесту понадобилось являться к Виктору тайно, ночью, с помощью украденного ключа... Модест объяснял это причудой своей художественной души, но никто не склонен считать позволительным для человека наших дней то, что нас пленяет в Бенвенуто Челлини Караваджо.

На суде Модест держал себя с достоинством. Так мне рассказывали, так как сама я не присутствовала. Я была вызвана только как свидетельница, но перед судом, от всего пережитого, я заболела нервным расстройством, и найдено было возможным слушать дело без меня. Защитник, *по требованию Модеста*, всю свою речь основал на том, что обвиняемый был ослеплен аффектом ревности. Это не помогло разжалобить присяжных. Модеста приговорили на десять лет каторжные работы. Ужасно.

Что до меня, я убеждена, что Модест – одна из замечательнейших личностей нашего времени. Он прообраз тех людей, которые будут жить в

будущих веках и соединят в себе утонченность поздней культуры с силой воли и решимостью первобытного человека. Я убеждена также, что Модест – великий художник и что, при других условиях жизни, его имя было бы вписано в золотую книгу человечества и всеми повторялось бы с трепетом восхищения. Но что до этого «среднему» присяжному, серому, международному вершителю человеческих судеб, безликому голосоподавателю, когда-то приговорившему Сократа к чаше с омегой и недавно Уайльда к Рэдингской тюрьме!

В своем «последнем слове» Модест просил передать его картины в один из художественных музеев. Вряд ли его просьба будет уважена.

Я до конца не могла уехать из России: сначала связана подпиской о невыезде, а потом была больна. Модест, перед тем как его отправляли из Москвы, просил увидеться с ним. Я не решилась отказать ему, хотя и считала, что это свидание должно быть излишней пыткой и для него и для меня.

Лицом Модест изменился мало, но арестантский халат обезобразивал его страшно. Я вспомнила его в мантии ассирийского жреца и зарыдала. Модест поцеловал мне руку и сказал только:

– Освобождаю тебя ото всех твоих клятв.

Не помню, что я ему говорила: вероятно, какой-то незначущий вздор.

Через несколько дней я уезжаю на юг Франции. Я не в силах жить в России, где мое имя стало синонимом всего постыдного. Я не смею показаться в общественном месте, потому что на меня будут показывать пальцами. Я боюсь встречать на улице знакомых, так как не знаю, захотят ли они поклониться мне. Никто из моих бывших подруг не приехал ко мне, чтобы выразить мне свое сочувствие. А теперь мне были бы дороги даже их утешения!

Управление своими делами я передаю дяде Платону и маман. Оба они весьма этим довольны и, конечно, поживятся около моих денег.

Лидочка едет со мной. Ее преданность, ее ласковость, ее любовь – последняя радость в моем существовании. О, я очень нуждаюсь в нежном прикосновении женских рук и женских губ.

Примечания

1

приличия (фр.).

Простите, мой друг... но судите сами: разве мне удобно принимать посетителей в первый месяц вдовства после полуночи. Вы ставите меня в ложное положение (*фр.*).

3

Мне нужно вам сообщить очень важные вещи. Умоляю вас уделить мне несколько минут для разговора. М. (фр.).

Я взял тебя обедком
С тарелки Цезаря, и ты была
К тому еще надкушена Помпеем.

(Пер. с англ. Б. Пастернака).

5

комбинаций (фр.).

6

Вы с ума сошли, сударь, я вас не знаю (фр.).

«сверхчеловеком» (нем.).